Марина Ивановна Цветаева

Сказки матери (сборник)

Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8508438

«Сказки матери»: АСТ; М.; 2014
ISBN 978-5-17-087079-0

Аннотация

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики XX века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.

С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы. Можно сказать, что в тексте ее воспоминаний слились два таланта: талант очарованного миром ребенка – и талант выдающегося художника, сумевшего выразить в словах ранний уникальный детский опыт.

Марина Ивановна Цветаева
Сказки матери

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Автобиографическая проза

Мать и музыка

Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша».

Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», – и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до – ре…» Это до – ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой – «кингой», как я говорила, пока что только ее «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца – жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю заливает по край глаз, выжигая – слезы. Это до – ре (Дорэ), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из «Sans Famille»[1], счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (estopie[2], с точно спиленной ногой: pied) калека Pere Barberin сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, единственной его обезьяне – Жоли Кер, ужасной пьянице, потом умирающей

1 «Без семьи» (*фр.*).

2 Искалеченный (*фр.*).

у Реми за пазухой от чахотки. Это ре-ми. Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое, ми – желтое (может быть – midi?)[3], фа – коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре – голубое – река?) – и так далее, и все эти «далее» – есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои, на них резоны.

Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем. Слух – от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я – ни при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, со всякого, в искусстве, самолюбия, – раз слух от Бога. «Твое – только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить», – говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а как старалась!), этим опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно – заклясть. И чем темнее слова заклятия – тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют: «Отче наш, иже еси на небесех…»

С роялем – до-ре-ми – клавишным – я тоже сошлась сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. «Пять лет, а уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! – говорила мать, голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: – Впрочем, у нее и ноги такие!» – вызывая у меня этими «ногами» смутный и острый соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тем более что я одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером!), чего, однако, никогда не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо «рояль – святыня», и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газеты же мать, с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавшему, с рояля снимала – сметала – и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из этого ли одновременно широкого и педантического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты – нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира – месть. И если я когда-нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать отчего.

Кроме большой руки, у меня оказался еще «полный, сильный удар» и «для такой маленькой девочки удивительно-одушевленное туше». Одушевленное туше звучало как бархат, и было коричневое, а так как toucher – трогать, выходило, что я рояль трогаю, как бархат: бархатом: коричневым бархатом: кошкой: patte de velours[4].

Но о ногах я не кончила. Когда, два года спустя после Александра – меня, родилась заведомый Кирилл – Ася, мать, за один раз – приученная, сказала: «Ну, что ж, будет вторая музыкантша». Но когда первым, уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалось «ранга`» (нога), мать не только огорчилась, но вознегодовала: «Нога? Значит – балерина? У меня – дочь балерина? У дедушки – внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не танцевал!» (В чем ошиблась: был один роковой, в жизни ее матери, бал и танец, с которого все и пошло: и ее музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая неизбывная беда. Но она этого не узнала – никогда. Узнала – я, без малого сорок лет спустя этого ее горделивого утверждения, в Русском Доме Св. Женевьевы – как, расскажу в свой срок.)

Годы шли. «Нога», как будто, сбывалась. Во всяком случае, Ася, очень легкая на ногу, на рояле играла ужасно – совершенно фальшиво, но, к счастью, так слабо; что уже из смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но навряд ли она, добросовестно, до предела растянув руку, брала больше чем от до до фа. Рука (как и нога) была крохотная, удар – мимовой, а туше – мушиное. Все же вместе, когда доходило до уха, резало его, как бритвой (мочку).

– Значит, в Ивана Владимировича, – сокрушенно, но уже смирившись, говорила мать, – у

3 Полдень (*фр.*).

4 Бархатной лапкой (*фр.*).

него на редкость никакого слуха. Впрочем, у Асеньки как будто слух есть, и если бы можно было расслышать, что она поет, – может быть, и было бы верно? Но почему она на рояле так фальшивит?

Мать не понимала, что Ася за роялем, по малолетству, просто невыносимо скучает и только от собственного засыпания берет мимо (нот!), как слепой щенок – мимо блюдца. А может быть, сразу брала по две ноты, думая, что так скорее возьмет – все положенные? А может быть (по две), как муха, по недостатку веса не могущая нацелиться на именно эту клавишу? Так или иначе, игра была не только плачевная, но – слезная, с ручьями мелких грязных слез и нудным комариным: и – и, и – и, и – и, от которого все в доме, даже дворник, хватались за голову с безнадежным возгласом: «Ну, завела!» И именно потому, что Ася играть продолжала, мать внутри себя от ее музыкальной карьеры с каждым днем все безнадежнее отказывалась, всю свою надежду вымещая а большерукой и бесслезной мне. ххх

– Нога, нога, – говорила она задумчиво, идя с нами, уже подросшими и тоже стриженными, по стриженому осеннему калужскому лугу, – но что ж, в конце концов балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну, в Сокольниках – у нее даже было шесть человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дедушка однажды отпустил меня к ней на крестины… – И уже явно шутя (и мы это понимали): – Муся – знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая)… знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. – И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: – Вот мои дочери и будут «свободные художники», то, чем я так хотела быть. (Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)

…Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу – слышно, а ноту – нет. Клавиша – есть, а ноты – нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для Gluckwunsh'a[5] матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот – воробушков! Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она – звучит. Некоторые же, запоздавшие (как девочка Катя из «Вечерних досугов»: поезд, маша, уходит, а опоздавшие Катя с няней – плачут…) – запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких-то воздушных ветках, но все-таки тоже спрыгивают (и не всегда впопад, тогда – фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают. Лет двадцать пять спустя они у меня все же упали и даже – ринулись:

Все ноты ринулись с листа,
Все откровенья с уст…

Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа (лучше, чем с лица, где долго, долго читала – только лучшее!), – никогда не полюбила. Ноты мне – мешали: мешали глядеть, верней не-глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так – сбивали с рук, мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем «вечным третьим в любви» из моей поэмы (которой по простоте – ее, или сложности – моей, никто не понял) – и я никогда так надежно не играла, как наизусть.

Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, – и даже давила! – не давая улечься, умяться

5 Поздравления (нем.).

(нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, – то, чего всегда мало, дважды – мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало – как радия, то, что само есть – недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды! – то, чего не может быть слишком, потому что оно – само слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую.

Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – что не удалось, наше – что удалось!

После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар – мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.

Знала ли мать (обо мне – поэте)? Нет, она шла va banque, ставила на неизвестное, на себя – тайную, на себя – дальше, на несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь.

Но все-таки для нот было слишком рано. Если неполные пять лет вовсе не рано для букв, – я свободно читала четырех, и много таких детей знаю, – то для нот то же неполное пятилетие бесспорно и злотворно – рано. Нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-голосового, насколько сложнее сам клавиш – собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы – на голос. И, совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой вставали – ноты, то между нотой и мной – вставала клавиатура, постоянно теряемая – из-за нотного листа. Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне-гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переведен, иначе – звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линейке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку – ноты гаммы, потом – пальцем – соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно – одного, за которым еще, всегда, другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное – души. Или уж – надо быть Моцартом!

Но клавиши – я любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, – за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что эта лестница – из-под рук! – и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи – ледяные лестницы ручьев вдоль спины – и жар в глазах – тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшиной хрестоматии.

И за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные – сразу грустные, верно – грустные, настолько верно, что, если нажму – точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз – слезы.

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, – и даже когда отпустишь!

За то, что с виду гладь, а под гладью – глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой – пропасть, за то, что эта пропасть – из-под рук, за то, что, с места не сходя, – падаешь вечно.

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении – и поглотить.

За страсть – нажать, за страх – нажать: нажав, разбудить – все. (То же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)

И за то, что это – траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» – явилась и она сама, заплаканная и все же

улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, тебя дедушка очень любил».

За прохладное «ivoire»[6], мерцающее «Elfenbein»[7], баснословное «слоновая кость» (как слона и эльфа – совместить?).

(И – детское открытие: ведь если неожиданно забыть, что это – рояль, это просто – зубы, огромные зубы в огромном холодном рту – до ушей. И это рояль – зубоскал, а вовсе не Андрюшин репетитор Александр Павлович Гуляев, которого так зовет мать за вечное хохотание. И зубоскал совсем не веселая, а страшная вещь.)

За «клавиатуру» – слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем.

За «хроматическую гамму» – слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическое – что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебнее простой, насколько длиннее и волшебнее наша тарусская «большая дорога», где можно пропасть 3 каждым деревом – Тверского бульвара от памятника Пушкина-до памятника Пушкина.

За то, что – это я сейчас говорю – Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй – мой. За то, что Хроматика – самое обратное, что есть грамматике, – Романтика. И Драматика.

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться – разыгрывается. И когда играют – по моим позвонкам играют.

…За слово – клавиш.
За тело – клавиш.
За дело – клавиш.

И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, как Валериины флаконы, и рифмовавшее во мне с желтофиоль, никогда не виденным материнским могильным цветком, с первой страницы «Истории маленькой девочки». И «диез», такое прямое и резкое, как мой собственный нос в зеркале. Labemol же было для меня пределом лиловизны: лиловее тарусских ирисов, лиловее страховской тучи, лиловее сегюровской «Foret des Lias»[8].

Бемоль же, начёртанный, мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину. Спуском брови над знаком глаза.

Бэкар же был просто – пуст: знак, что не в счет, олицетворенное как не бывало, и он сам был не в счет, и его самого не было, и я к нему относилась снисходительно, как к пустому дураку. Кроме того, он был женат на Бэккере.

Вначале еще смущали верх и низ, верх, который я неизменно ощущала басами, левым, – а низ – дискантом, тонизной, правым концом клавиатуры, беззвучным уже дребезгом, концом звука и началом лака. (Наверху – горы и гром, внизу – букашки, мухи, например, бубенчики, одуванчики, комары, пискари, – такое…) Теперь вижу, что была права, ибо читаем мы слева направо, то есть с начала к концу, а начало никак не может быть низом, который сам по себе есть схождение на нет. (Тонкий звук сходит на нет, а глухой, басовый – ins All[9]. В рояльный лак. В гулы.) Клавишно-вокальное определение верха и низа соответствовало бы европейскому письму.

6 Слоновая кость (*фр.*).

7 Слоновая кость (*нем.*).

8 «Сиреневой рощи» (*фр.*).

9 В бесконечность (*нем.*).

Но больше всего, из всего ранне-рояльного, я любила – скрипичный ключ. Слово – такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда – рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горным хрусталем веркало и грохотало имя Сарразаты, мир, – я это уже знала! – где за игру продают чёрту – душу! – слово, сразу делавшее меня почти скрипачом. И еще другой ключ: Born, ключ Oheim Kuhlborn: Дядя Струй, из жемчужной струи разрастающийся в смертоносный поток… И еще ключ – другой:

…холодный ключ забвенья,
Он лучше всех жар сердца утолит! –

из Андрюшиной хрестоматии, с двумя неизвестными: «забвенье» и «утолит», и двумя известными: «жар» и «сердце», которые есть – одно.

Слово и вид – лебединый, вид, который я так любовно воспроизводила на нотной бумаге, с чувством, что сажаю лебедя на телеграфные провода.

Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук, и я его втайне презирала. Во-первых, – ухо, простое грубое ухо с двумя дырками, но проткнутыми, – о глупость! не в нем, а рядом – и двумя вместо одной, точно можно в одном ухе носить две серьги и точно, вообще, бывает одно ухо. (Ушной вопрос меня очень интересовал, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги – висели, называла это варварством, а ее подчерица, институтка Валерия, которая считала это красотой, никак не могла этого проткнутия добиться: то запухали, то зарастали, – так и ходила злая, с шелковинкой.) Слово же «басовый» – просто барабан, бас: Шаляпин. А одна полоумная поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего трехлетнего Сашу на стол и заставляет его петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под глазами и он совершенно не растет. Нет, бог с басовым! И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями – стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу – полнее, вверху – стройнее, – целая вереница скрипичных лебедей!

Но это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального рвения – и пора об этом казать – у меня не было. Виной, верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей – себя! С меня, уже писателя – меня, никогда не музыканта. «Отсидишь свои два часа – и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! «Noch ein wenig!»[10] Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!» Не попросила – никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой – замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утреенних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, – с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову – радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили»!) и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» – и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу…» Бедный папа! В том-то и дело, что не слышал, ни нас, ни наших гамм, ганонов и галопов, ни материнских ручьев, ни Валериных (пела) рулад. До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал! Ведь когда не играла я – играла Ася, когда не играла Ася – подбирала Валерия, и, покрывая и заливая всех нас – мать – целый день и почти что целую ночь! А знал он только всего один мотив – из «Аиды» – наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы. «Даже «Боже, царя храни» не умеешь спеть!» – мать ему, с шутливой укоризной. «Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!» Но до «царя» не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутливо, – а с

10 Еще немножко! (*нем.*).

истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал. Голос у него был сильный.

Позже, после ее смерти, он часто – Асе: «Что ты, Асенька, как будто фальшивишь?» – для очистки совести, – заменяя мать.

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы – играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаясь в него всем своим слоновым неповоротом – выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек жасмин. Пот льет, пальцы красные – играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем – держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н – того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, – по француженке же: Henri. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом – и я – по клавишам. Или, осень: Андрюша строгает палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «Eckerhardt», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна – «играю» (Зачем??)

– Нет, ты не любишь музыку! – сердилась мать (именно сердцем – сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. – Нет, ты музыку – не любишь!

Нет – любила. Музыку – любила. Я только не любила – свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него – всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пьески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку». В ней две музыкальных крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком – другую, филологическую и явно-континентальную, с ее кровью, – неслиянную – и неслившуюся.

Мать – залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли – на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не ins Leben, a in die Musik hinein[11]. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращенья? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже – Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не!..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже

11 Не в жизнь, а в музыку (нем.).

кто-то живет, причем кто – неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь немыслимом жить, – так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно. «А если в твой дом бросят камнем?» – «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука. Точно по мою душу идет этот звук! Кто-то стоит над твоей душой, и тебя торопит, и тебя удерживает, не дает тебе ни дохнуть, ни глотнуть, и так же будет тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, – один в пустой зале, над пустым табуретом, над закрытой рояльной крышкой, – потому что его забыли закрыть – и доколе не выйдет завод. Неживой – живого, тот, которого нет, – того, который есть. А вдруг завод – никогда не выйдет, а вдруг я с табурета – никогда не встану, никогда не выйду из-под тик – так, тик – так… Это была именно Смерть, стоящая над душою, живой душою, которая может умереть – бессмертная (уже мертвая) Смерть. Метроном был – гроб, и жила в нем – смерть. За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезающая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встреча с техникой и предрешившая все остальные, техника во всей ее свежести, ее стальной букет, ее первый, мне, стальной бутон. О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал – не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя – ее! – протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить – так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я – иду, а ты – стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но – немая, – точно я вдруг ослепла или одурела. Или та же стена отцовских латинских, материнских английских книг, именно стена – непроницаемая: читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы сознавать, что здесь, в этих коричневых, вожделенно-толстенных и громадных тетрадочных томах – все «жемчужны струи» и моря материнской игры. Но не слышу – глухо! Видит око – да зуб неймет! Тогда, отказавшись, начинаю читать слова: Opus – Moll – Rubinstein – Нувеллист…

Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховен, Шуман, опусы, Dur'ы, Moll'и, Сонаты, Симфонии, Allegro non troppo, и Лерино – Нувеллист. Нувеллист + Романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку – две буквенные), во-вторых, я всю Лерину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя ноты. (Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность») и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», – я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире – и почувствовала себя омытой: всей Музыкой от всякой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной – как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся – родным, в праве на жизнь, наконец! Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты требуешь от стихов того, что может дать – только музыка!») Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот – книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь – и конец.

Вот Дивный Терем, с нарисованной зеленой вроде – дачей на ходулях и таинственной, колышками, вкось, надписью: «Посвящается Ее Высочеству Великой Княжне (не помню какой) ко дню возвращения (а может быть, и отбытия) Ее Августейшего Жениха, Принца (забыла – какого)». «Дивный терем стоит – И хором много в нем…» Помню ожигавший и заливавший меня ликованием возглас: «Он вернется, жених!» – точно все спасение мира было в том, чтобы жених – вернулся, обещание, от музыки становившееся обетованием, звучавшее овсем как: «Благословен грядый во имя Господне!» – и, одновременно заливавшее меня тоскою – так, точно не вернется жених. Этот магический удар по мне Дивного Терема – те же острые верхи

тоски! – я потом узнала в Нибелунгах и, целую жизнь спустя, в бессмертном эпосе Зигрид Ундсет. Это была моя первая встреча с Скандинавским Севером. «Жених» же мне почему-то представлялся летящим на ковре-самолете, или просто Змеем-Горынычем, во всяком случае чем-то воздушным, с неба падающим на ту самую гору. И – как продолжение этой горы – в другом уже романсе: «Милые го-оры, мы возврати-имся…» Что это значило? И кто сочинил эти страшные слова, кроме которых ничего не помню, да, кажется, ничего и не было. Кто (да еще мы, во множественном!) утешает горы, что – возвратится? Может быть, те самые Ее Высочество с Змеем-Горынычем, улетающие со своей горы – царствовать? Во всяком случае, для романса – слова странные, и как Святополк-Мирский говорил, «теряюсь в догадках». Достоверно одно: страсть моя к горам и тоска на ровном месте, дикие для средне-россиянки, – оттуда. Горы во мне начались с тоски по ним и даже с тоски – их – по мне: ведь я же им в утешение пела, что «возвратимся»!

А вот еще, и тоже с картинкой, которую Валерия по многу раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институтским подругам: темно-коричневая старуха с одной серьгой, в большом клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож, – Ворожея.

Погадай-ка мне, старушка,
Я давно тебя ждала.
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.

– Лохматая, в космотьях! – как во все горло пел Андрюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня – что любит. «Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее – улыбка, в сердце – радость и гроза…»

Всю эту Лерину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» – «В сердце радость и гроза». – Что это значит?» – Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». – «Что? Что?» – мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза – и радость». – Какая гроза? Что значит – гроза?» – «Потому что ей страшно». – «Кому ей?» – «Которая подошла к старушке, потому что старушка – страшная. Нет, это старушка – подошла». – «Какая старушка? Ты с ума сошла!» – «Из Лериной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка – с палкой… Это называется «Ворожея» (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: «А что значит Ворожея?» – «Я не знаю». Мать, торжествующе: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лериных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» – мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недосягаемость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза… Та-та, та-та, та-та, та-та… Он глядит в ее глаза…» – Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто – врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась…) «Что ты опять тут делаешь?» – «Я смотрю на метроном». – «Что значит «смотрю на метроном»?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже на верху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лериных нотах рылась! А метроном – урод!»

К Лериному репертуару относились еще все ноты ее матери, все эти оперы, и арии, и аранжировки, тоже со словами, но непонятными (пению училась в Неаполе) и с подавлявшим меня количеством ненавистных мне надлинейны трижды и четырежды перечеркнутых нот. «Нувеллист» же я, за детскую простоту нотного начёртания, полную его доступность моей детской несостоятельности – презирала: столько белых и никаких перечерков, – точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали (как кур кормят!) на целый год «Нувеллиста», – так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, – почти что мой «Леберт и Штарк», –

только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. «От земли не видать, а уже педаль! Чем ты хочешь быть: музыкантом или (проглатывая «Леру»)… барышней, которая, кроме педали да закаченных глаз… Нет, ты сумей рукой дать педаль!» Давала – ногой, но только в отсутствие матери, но зато так подолгу, что уже не понимала: уже я (гужу) или – еще педаль? (представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой – Plattfuss[12] – Золушки!). Но у педали была еще одна – словесная родня: педель, педель студенческих сходок, педель, забравший на сходке нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича (Аркаэксаныча), Андрюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение:

Все бегут на сходку:
Сходка где? Сходка – где?
Сходка будет на дворе.

Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора, и забирающий студентов (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскоряченной лапой, как Людоед – мальчиков с пальчиков. Людоед – но так как это все-таки университетский служитель – то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали – две. Но, назвав педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, белого ученого Капи из «Sans Famille», который рвет педеля за панталоны – тогда педель Аркаэксаныча выпускает, – и их общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры падали, той падали, которой пахнет – одну секунду – и каждый раз – и безумно сильно – в бузине, у самого подступа к нашей тарусской даче, падали, от детства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый раз, как это слово слышу – оборачиваюсь.

Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был, как все, должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие, это был табурет, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама – вертелась! На своей рубчатой шее, так напоминавшей ощипанную индюшачью. Вывернешь ее до предела и ждешь не без волнения, что вот «голова», ослабнув, качнется и совсем отвалится. Но помню и отвал другой головы – собственной, когда, вжавшись руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз – до отрыва головы, вущейся с шеи, как шар с крутимой палки. «А-а-а! опять завертелась! – тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на мое зеленое лицо. – Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без ее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?» – «Нет». – «Так вот тебе Леберт! – Так вот тебе Штарк!» И, уверяю, удар был вовсе не staccat'ный.

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери – сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленно-исступленное «ох» в ответ на Валериино, часами, «подбиранье» и «напеванье», как сейчас вижу искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно-выразительном, при помощи педали, аккорде, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка, ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный безголосый сухо-горловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом, – крик, за который можно убить.

Но, возвращаясь к совершенно непричемному, непевшему и неигравшему Андрюше: Андрюшиному роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: петь мальчиков не учат, а рояль – мейновское (второ-женино). Бедный Андрюша, на которого не хватило, – ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? – всего и больше всего – слуха. Но вышло как по-писаному: ни из Валериных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных «тили-тили» –

12 Плоскостопия (*нем.*).

ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений – ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном – на чем отдохнуть: на его немоте. Н по-особому вышло, и двойной запрет сбылся: ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, не только сам научился, еще и Асю аучил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим бобриком), с ее гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет…» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что тогда послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второ-жениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшиного исторического, не усадила: меня – за письменный стол, Асю – за геркулес, а Андрюшу – за рояль:»До, Андрюша, до, а это ре, до – ре…» (из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме Dore, Gustav'a…).

Но замечаю, что я еще ничего не сказала о главном действующем лице моего детства – самом рояле. (Золотыми буквами «Бэккер», – Royala a queue). Но рояль не один. В каждом играющем детстве: раз, два, три – четыре рояля. Во-первых – тот, за которым сидишь (томишься так редко г рдишься!). Во-вторых, – тот, за которым сидят – мать сидит – значит: гордишься и наслаждаешься. Не «как сейчас вижу» – так сейчас уже не вижу! – как тогда вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч на выдвижных боковых досочках. И еще раз ту же голову – в одном из парных стоячих зальных зеркал, в зеркальной его вертикали над рояльной горизонталью, ту же голову, но с невидимой нам стороны (тайна зеркала, усугубленная тайной профиля!) – в отвесном зеркальном пролете, отдаляющем ее от нас на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери, между свеч от зеркала делающуюся – почти елкой!

Третий и, может быть, самый долгий, – тот, под которым сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир. Подводный не только из-за музыки, лившей на голову: за нашим, между ним и окнами, заставленные его черной глыбой, отделенные и отраженные им как черным озером, стояли цветы, пальмы и филодендроны, подрояльный паркет превращавшие в настоящее водное дно, с зеленым, на лицах и на пальцах, светом, и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, где как огромные чуда беззвучно двигались материнские ноги и педали.

Трезвый вопрос: почему цветы стояли за роялем? Чтобы неудобнее поливать? (С матери, при ее нраве, бы сталось!) Но от этого соединения: рояльной воды, и воды леечной, рук матери, играющих, и рук, поливающих, попеременно льющих то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествлен с водою, с водой и зеленью: лиственным и водным шумом.

Это – материнские руки, а вот – материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые уществa, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую, но большую, в черном, бескаблучном башмаке на пуговках, которые мы зовем глазами мопса. Потому они и прюнелевые (prunelle des yeux[13] – мопса). Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня левая? Как это она сразу – правая и левая? Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы оказалась левой, то есть короткой (по звуку). Почему же у матери она выходит правая, то есть звук – тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее – рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая, значит – ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смею, это мне, собственно, и в голову не могло прийти.

13 Зрачки (*фр.*).

«Еще доказательство твоей немузыкальности!» – восклицала мать, после целого часа игры (из которой выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никого и ничего не узнавая), после часовой игры, наконец, обнаружившая, что мы весь час сидели под роялем: Ася – вырезая из картонного листа телесных девочек и их поштучное приданое, я – думая про правую и левую, а чаще ничего не думая, как в Оке. Андрюша под роялем скоро перестал сидеть; у него вдруг так выросли ноги, что он непременно попадал ими в ноги матери, которая тогда вставала и усаживала его за книги, которые он ненавидел, потому что ему только их и дарили – именно потому, что ненавидел – для того чтобы любил. И еще потому, что у него от чтения сразу шла кровь носом. Так что, из инстинкта самосохранения, под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штекенпферде[14] в арке залы, показывая нам с Асей кулаки и языки. «Музыкальное ухо не может вынести такого грома! – уже гремела мать, совершенно меня оглушая. – Ведь оглохнуть можно!» (Молча: «Это-то мне и нравится!» Вслух же:) «Так лучше слышно!» – «Лучше слышно! Барабанная перепонка треснуть может!» – «А я, мама, ничего не слышала, честное слово! – торопливо и хвастливо, Ася. – Я все думала про этот маленький, маленький, ма-аленький зубчик!» – в полном чистосердечии суя матери под нос безукоризненной резки кукольные панталонные фестоны. – «Как, ты вдобавок еще острыми ножницами резала! – мать, совсем сраженная. – Fraulein, где вы? Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дедушкины внучки, мои дочери… О, господи!.. – И, замечая уже дрожащие губы своей любимицы: – Асеньке – еще простительно… Асенька еще маленькая… Но ты, ты, которой на Иоанна Богослова шесть лет стукнуло!»

Бедная мать, как я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя «немузыкальность» была – всего лишь другая музыка!

Четвертый рояль: тот, над которым стоишь: глядишь и, глядя, входишь, и который, в постепенности годов, обратно вхождению в реку и всякому закону глубины, тебе сначала выше головы, потом по горло (и как начисто срезая голову своим черным краем холодней ножа!), потом по грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его черным и твердым холодом. (Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед? Такой да и такой нет?) Но, кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая детская шалость: надышать, как на оконное стекло, и на матовом, уже сбегающем серебряном овале дыхания успеть отпечатать нос и рот, которые: нос – выходит пятачком, а рот – совершенно распухшим, точно пчела всюду укусила! – в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое короче, чем в жизни, и вдвое шире и который сразу исчезает, сливаясь с чернотой рояля, точно рояль мой рот – проглотил. А иногда я, за недостатком времени, с оглядкой на все выходы залы: в переднюю – раз, в столовую – два, в гостиную – три, в мезонин – четыре, откуда, из всех сразу, могла выйти мать, просто рояль целовала – для холода губ. Нет, можно войти дважды в ту же реку. И вот, с самого темного дна, идет на меня круглое пятилетнее пытливое лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту – вроде негра, окунутого в зарю, или розы – в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переведением его а черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть.

И, наконец, последний рояль – тот, в который заглядываешь: рояль нутра, нутро рояля, струнное его нутро, как всякое нутро – тайное, рояль Пандориного: «А что там внутри?» – тот, о котором Фет, во внятной только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строке:

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали…

Не те аллегорические «струны души», а настоящие, рукой мастера протянутые и которые рукой можно тронуть, проследить от серебряных закрепок до обутых в красный бархат молоточков, Hammerlein im Kammerlein[15], чем-то – гриммовских, чем-то гномовских. Рояль торжественных дней, карет, ротонд, Великого Созвездия Люстры, рояль больших четырехручных состязаний, римской квадриги – рояль! – редкостный его лик, когда он,

14 Деревянной лошадке на палочке (*нем.*).

15 Молоточка в каморочке (*нем.*).

поставленный дыбом крышкой, сразу обращался в арфу, а озерная его несомутимая гладь в струнную, бурей или богатырем низложенную изгородь Жар-Птицы – только задень, и что пойдет! Рояль, от которого утром, как от всякого ночного чуда, не оставалось ни следу!

Но чтобы ничего не обидеть в моем старом друге-недруге: Notenpult, полный пюпитр, та изгородь из неживых цветов – между волей и мной, – черные деревянные лакированные цветы, в шмелиные, змеиные, малинные дни заменявшие мне, увы, цветы полевые! Нотный пюпитр, который можно класть так, чтобы нотная тетрадь лежала, как в обмороке, – и ставить так, чтобы висела над тобой, как утес, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей. Рояльный пюпитр с освободительным треском его окончательного закрытия.

И еще – сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гиппопотамом, помнится, не из-за вида, – я их никогда не видала! – а из-за звука, гиппопо (само тулово), а хвост – там. А потом, с переводом вещей на человеческое – пожилой мужской фигурой тридцатых годов: тучный, но bien pris dans la taille[16], несмотря на громоздкость – грация, тот опытный, немолодой, непременно – фрачный танцор, которого девушки, только взглянув, предпочитают самому воздушному и военному. А еще лучше – дирижер! ярко-черный, плавный, без лица, потому что всегда спиной, – и полный чар. Поставь рояль дыбом, и будет дирижер! И, оставив и танцора, и дирижера: ведь рояль только вблизи неповоротлив на вес – непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой все необходимое для звучания пространство, дай ему, как всякой большой вещи, место стать собой, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете. Горы только на тебя давят, и единственная возможность их с себя снять – либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль. Руками взойди. Как мать всходила.

Чтобы дать, хоть немножко, ее игру – три случая. Когда мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, приехали в Нерви, была уже ночь и играть ельзя было. Так мы и заснули, мы с Асей не увидев моря, она – не испробовав рояля. Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала – и села. Через несколько минут – стук в дверь. На пороге черный сладкий брюнет в котелке. «Позвольте представиться: д-р Манжини. А вы, если не ошибаюсь, – синьора такая-то, моя будущая пациентка? (речь шла на затрудненном французском). Я проходил мимо и слышал вашу игру. И должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь наш Pension Russe – сожжете». И, с неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: «Geniale… Geniale…» Играть он ей, конечно, надолго запретил.

Второй случай – уже на возвратном пути в Россию – умирать. Где-то, кажется в Мюнхене, она – все то же, куда бы мы ни прибывали, – только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла к роялю. И вот, видим с Асей, как какой-то мальчик, старше нас, должно быть, лет четырнадцати, ярко-розовый и весь отливающий волосяным золотом, все подъезжает к ней на стуле, к ней: к ее рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не валился ей под ноги вместе со стулом, то есть попросту – под рояль. Мать, ничего не замечавшая, тут сразу все поняла: без всякой улыбки помогла ему выбраться и, опустив ему на голову руку, тут же не отводя ее, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. (Сын Александр.) Нужно сказать, что из всех присутствующих, а присутствовали – все те же, куда бы мы ни прибывали – все, никто не засмеялся. (Ибо мальчик так же просто – с тем же полуоткрытым ртом – и с тем же стулом – мог бы свалиться на горячую печь – или в львиный ров.) Мы же с Асей отродясь знали, что глупо смеяться, когда другой падает: ведь Наполеон – тоже упал! (Я даже, в своем максимализме, шла дальше: глупо, когда не падает. Идет и не падает-вот дурак!) Никогда не забуду своей матери с чужим мальчиком. Это был самый глубокий, за всю мою жизнь, поклон.

– Мама (это было ее последнее лето, последний месяц последнего лета) – почему у тебя «Warum»[17] выходит совсем по-другому?

– Warum – «Warum»? – пошутила с подушек мать. И, смывая с лица улыбку: – Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, warum все так вышло – как вышло, и warum ничего

16 Здесь: изящный (*фр.*).

17 «Почему» (*нем.*).

не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, – ничего ни у кого – тогда и сумеешь играть «Warum». А пока – старайся.

Последнее – смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции «Тарусская». Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. («Села пассажирским, а доеду товарным», – шутила она.) На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов.

– Ну посмотрим, куда я еще гожусь? – усмехаясь и явно – себе сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук – но мне еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна с нею…

Это была ее последняя игра. Последние ее слова, в той, свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройке, были:

– Мне жалко только музыки и солнца.

После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страху для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого – всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием – а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней… что она мне меня – такую, как я есть – простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы – следы материнских морей – во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше – я бы, наверное, кончила Консерваторию и вышла бы неплохим пианистом – ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

1934

Отец и его музей

I. Шарлоттенбург

Мне скоро шестнадцать. Асе – четырнадцать. Три года тому назад умерла наша мать.

Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья – тюрьмы! Черные чулки, черные башмаки. Ноги черные!

– Папа, долго еще!

Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом.

– Скоро, скоро, еще минут пятнадцать-двадцать, не больше! Отец мой – страстный, вернее – отчаянный, еще вернее – естественный ходок, ибо шагает – как дышит, не осознавая самого действия. Перестать ходить для него то же, что для другого – перестать дышать. Мы с сестрой, пыхтя, следуем. Идем гуськом – отец впереди, за ним – я, за мной – Ася.

«Городок Шарлотты» (какой-нибудь «Великой», должно быть, раз назван ее именем) – Шарлоттенбург вымер начисто. Ставни закрыты. Вокруг – ни собаки. Единственные собаки на улице – мы. Сказала: «закрытые ставни». А есть ли они вообще? Ставни? Дома? – Не знаю и знать не могу, так как иду, не поднимая головы, загипнотизированная движением собственных черных ног по белой мостовой.

– Папа, скоро? – это опять Ася спрашивает, я же, из гордости врожденного пешехода – и прочих своих гордостей – молчу.

Шесть черных башмаков по белой мостовой.

Два впереди, два вслед, два замыкающих.

Но не может же так длиться вечно! Надо что-то придумать. И – придумываю. Все это – только сон. Я сплю. Потому что такой жары – до седьмого пота, такого раскаленного света, словом, такого ужаса просто не может быть. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок – три минуты, не более, значит, я не успела устать. Даже во сне.

Стоило лишь убедиться – усталости как не бывало.

И – голос отца:

– Вот мы и пришли.

Громадная, если не бесконечная, Gipsabgьsserei: склады гипсовых слепков с мраморных подлинников. Статуи, статуи, статуи.

– Вы у меня молодцы, шли – не ныли, – говорит отец, вытирая лоб, – в награду дарю каждой по слепку, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы недолго.

Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни – странно-черноногие среди всех этих застывших, бело– и голоногих. Начинаем поиски, от статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо двух слепков на выбор две книги, я бы тотчас назвала с десяток самых вожделенных. Но – делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное.

Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси господи, не выбрать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами:

– Ау-у! Нашла?

– Нет еще, а ты?

– И я нет.

– Ты меня видишь?

– Вижу!

– Ты где?

– Здесь!

Игра в прятки среди статуй. Наконец вопль Аси:

– Есть! Кажется, мальчик!

Полная ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень-то тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь.

Действительно, мальчик. Наш сверстник, даже, пожалуй, моложе – и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс – голова.

– Нравится?

– Для тебя – да, для себя – нет.

Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова – зов.

– Еще нашла! Опять мальчик! Подхожу, и, вглядевшись:

– Никакой это не мальчик.

– Мальчик!

– Говорю тебе – не мальчик.

– Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь это – девочкой!

– А я и не говорю, что девочка. Скорее – ангел.

– А крылья?

– Значит – греческий ангел. Или римский. Во всяком случае – не человеческий мальчик.

– Человеческий – не человеческий, зато у меня их два, а у тебя – ничего.

И правда – ничего. Потому, что хочу чего-то очень своего, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, предначёртанного. Что не менее трудно, чем найти жениха.

Ах, если бы здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди – но он родился куда позже Греции и Рима! Ну а Цезаря мне не нужно; Марка Аврелия тоже.

Остается продолжать поиски среди женщин.

И – вот она! Вот – отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а – крик. Живое лицо меж всех этих бездушных красот!

Кто она? – Не знаю. Знаю одно – моя! И так как столь же моего мне больше не найти, и так

как мне ничего (никого!), кроме нее, не нужно – не раздумывая присоединяю к ней некую благонравную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика на волосах – первую попавшуюся!

Найдя – прогуливаемся.

– Конфетку хочешь?

– Давай!

В моих, уже слипшихся, пальцах капелькой крови – кислый русский леденец, носящий французское – времен их эмиграции? – название «монпансье». Переглядываемся и – одним и тем же молниеносным движением вталкиваем: Ася – зеленую, я – красную конфету в разверстые пасти: Льва – (Ася), Героя – (я).

До чего же этот изумруд и этот гранат оживляют белизну гипсовых языков!

Сестра, засунув руку поглубже:

– Знаешь, у них нет глотки. Совсем. Там, внутри, – тупик! (Голос отца: «Ася, Муся!» – «Сейчас, папа!»)

– Надо их вынуть!

– Нет, оставим!

– Но что директор подумает?

– Он и не увидит: у него очки. Да если и увидит – никогда не поверит, что дочери нашего отца…

– А если и поверит, то никогда не решится сказать…

– А если и решится, то не успеет…

– …Ну как, выбрали?

О, ужас! Папа с директором направляются в нашу сторону!

– Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни? (Директор.)

– Вот это – и это – и это – и это.

– Сразу видно, что вы – дочери своего отца! (Одобрительно:) Донателло – и – (забыла имя) – и Амазонка – и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор! Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам!

Итак, моя любовь с первого взгляда – Амазонка! Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная, а та, другая, благонравная, моя «первая попавшаяся» – не кто иной, как Аспазия!

– Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок! Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя – в разинутых пастях Героя и Льва.

Довольные, покидаем заколдованное царство.

– А теперь пойдем выпьем пива, – говорит отец.

II. Машинка для стрижки газона

Как-то, из поездки по хозяйственным делам отец привез машинку для стрижки газона, разбитого им на лужайке перед главным входом собственноручно.

– Это тебе, это – Асе, это – Андрею, а это – для Музея. «Это для Музея» было машинкой для стрижки газона: тяжелая, сверкающая и внушающая уважение садовая игрушка, которую он бережно достал из небольшого ящика, трижды обвязанного веревкою.

– Ну как, хороша?

– Великолепна!

– Угадайте, сколько я за нее уплатил?

– Марок сто?

Отец рассмеялся:

– А вот и вдвое меньше.

– А пошлина на таможне?

– Совсем ничего.

– Как это?

– Да так. Я взял её с собой в вагон. «А что у вас в ящике, господин профессор?» – «Там греческие книги, дружок». – «А! Господин преподает греческий?» – «В Московском

университете, дружок, уже тридцать лет». – «Это, наверное, очень трудный язык!» – «Нет, не очень, нужно немного терпения, вот и все». – «Я был бы очень горд, если б умел читать на греческом!»

Уже через две минуты я преподал ему урок греческого языка тут же, в вагоне. Милый человек! Мы расстались друзьями.

– Ну, а если б он попросил тебя открыть ящик?

– Я бы сказал, что я ничего не знаю, что букинист все напутал… Но никакого риска не было: ну разве я похож на типа, который может прятать у себя в багаже что-нибудь иное, кроме греческих книг?

Действительно, отец выглядел именно тем, кем он на самом дел был – самым честным из людей, потому и сомнений быть никаких не могло…

Только благодаря таким хитростям и попадают в Царство Небесное.

III. Мундир

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой.

– Папа, пора тебе сшить костюм. Твой ведь…

– Еще годится. Крепкий и без единой дырки.

– Но цвет…

– Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет – узнаешь, что такой срок и нас не украшает.

– А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?

– Зачем, когда мне и этот хорош? А если другим не нравится, пусть не смотрят. И вообще – кто будет по одежде встречать и провожать старого профессора?

На следующий день окликает на лестнице моего брата:

– Андрей, слушай, Андрей, не помнишь ли адреса моего приятеля – портного Володина? Я все же решил его перелицевать.

– Что?!

– Пиджак перелицевать.

– Купи себе лучше новый!

– Купи, купи… Это ты привык, с колыбели нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться тем, что еще может послужить.

Поймите меня: это не было скупостью.

Вернее – было. Скупостью в превосходной степени.

Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.

Итак – скупость, являющая собой сыновнее уважение.

Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.

Итак – верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги.

Итак – верность земле.

Скупость аскета, которому все лишнее для себя – тела и всего слишком мало для себя – духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.

Скупость каждого, делом занятого, человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени.

Итак – скупость: экономия времени.

Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому просто ничего не нужно. (Отрешенность Льва Толстого от всех благ земных была не «фантазией», а потребностью, ибо писателю куда сложнее управлять имуществом, чем раздавать его. Ибо обыкновенный некрашеный стол нужнее полированного письменного, со множеством ящиков, наполненных лишними вещами, захламляющими в первую очередь голову. Приверженность Вагнера к роскошным декорациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его гений.)

Итак, скупость: духовность.

(Все эти скупости недаром мне ведомы – я их унаследовала от отца, среди многого иного! Выиграй я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьянки носили. Овчина – не каракуль. Теплая, без сносу, не вызывающая ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.)

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь раздаривать.

Ибо раздаривал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки – на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна – музейных колонн, показавшихся критикам слишком тонкими по отношению к высоте.

…А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!

Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: «А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!»

Главный удар по отцовской «скупости» был нанесен мундиром. Мундиром «Почетного опекуна» (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он еще не существует. Который должен быть новее нового, ибо весь – в золотом шитье!

– Да, но это обойдется мне в семьсот рублей! – таков был ответ отца на наши поздравления его с новым званием.

– Неужели за звание надо платить?

– За звание – нет. За мундир.

– Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

– Если бы серебром…

Потом начались примерки, проходившие в гробовом молчании.

– Раз он портной, пусть смотрит сам. Его дело!

Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил сознательного взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:

– Семьсот рублей за одежду – да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна, да на сотню серебряного и золотого шитья, – материал и работа – да полсотни портному… ах, еще на подкладку рублей двадцать пять – вот вам всего-навсего двести пятьдесят – и это хорошая цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?

– Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.

– Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных – плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор»!

Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.

Восклицания восторга: «Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!»

Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого – чтобы тотчас же отвести глаза.

– Хорош! – даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

– Так это же не на себя, а для музея, папа!

Он, настораживаясь:

– Постой, постой, постой… как ты сказала?

– Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.

– У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать – словами.

– Да ведь это не слова, папа. Это – глазами видишь. Белая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами – ты. В темно-синем, серебряном, золотом… Посмотри, что за прелесть это

шитье! Листья… веточки…

– Если бы не золото!

– Но ведь оно – почти совсем не золото! Так – тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, благородный вид!

– Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой… иконой!

И – со вздохом:

– Разве что для музея…

IV. Приют

По делам Музея отец часто бывал в Германии и всегда останавливался в каком-нибудь странноприимном доме: убежище для людей почтенных, но незажиточных.

– Встают в шесть часов под звуки колокола.

– А ты?

– И я: это полезно для здоровья. Потом женщины моют полы, мужчины бреются.

– И ты тоже? (У отца никогда не было бороды, но были большие усы а ля Клемансо.)

– И я. – Потом все поют благостные пестнопения.

– Неужели ты тоже?

– И я.

– Но, папа, как ты можешь петь, ты же фальшивишь.

Он, соглашаясь,

– Да, я немного фальшивлю, но пою так тихо, чтобы меня никто не слышал, я только чуть-чуть открываю рот.

– Но они же протестанты! (Это говорит наша гувернантка, которая грезит о монастыре.)

– Да, протестантские. Но голоса прекрасны и слова тоже. А потом все пьют кофе с молоком… и уходят – до вечера.

– Папа, а это не Армия спасения!

Папа:

– Может быть, но в это не очень верится, ведь за все время я не встретил никого в форменном платье.

V. Лавровый венок

День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой дамы? громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери – Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.

Отец, разглядев посетительницу:

– Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде… Не знал, что это вы, думал – курьер… Позвольте, я… (смущенно показывая на халат).

– Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так – гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно – тогу. Даже на греческий пеплум. Да.

– Но… (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык…

– Уверяю вас – настоящая тога мудреца! К тому же, через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим

днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было создать. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – созидатель. Вот именно – созидатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это.

Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.

– Позвольте, позвольте, позвольте…

– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

– Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но… лавровый венок… мне?! Это, право, как-то даже и некстати!

(В своей полнейшей отрешенности от внешнего, отец и не задумывается о том, как может выглядеть лауреат в халате!)

– Нет, нет, нет, не спорьте! – посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. – Я должна увенчать вас, хотя бы на мгновенье!

И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом, возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.

Он, отбиваясь:

– Прошу вас, не надо! Не надо!

Она, умоляюще:

– О, не снимайте! Он так вам к лицу!

И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение – величайшая из ведомых мне страстей!) – целует его, – тридцатипятилетняя красавица – почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.

Мгновение спустя (венок уже снят и бережно положен на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца в своих:

– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности (моей – тоже!), и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы ее подарок!

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб.

1936

Сказка матери[18]

– Мама, кого ты больше любить: меня или Мусю? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), – если – Мусю.

18 Написано во время начала работы Цветаевой над очерком «Чёрт». Прочитано на литературном вечере 1 ноября 1934 г. вместе с очерком «Мать и музыка». Как сообщала Цветаева В. Н. Буниной, публике этот «пустячок»… очень понравился, п<отому> ч<то> веселый (серьезно-веселый; не-совсем-весело-веселый)… Надеюсь, что из-за успеха (явного) возьмут в Посл<едние> Новости».

Однако «Сказка матери» пролежала в редакции газеты «Последние новости» почти три месяца, после чего была опубликована с сокращениями. «Сокращено в сорока местах, – негодовала Цветаева, – из к<оторых> – в 25-ти – среди фразы. Просто – изъяты эпитеты, придаточные предложения, и т. д. Без спросу. Даже – с запретом, ибо я сократить рукопись – отказалась. Потому и лежала 3 месяца. И вдруг – без меня. Я, читая, – плакала» («Письма к Тесковой»).

Опубликован полный текст, по беловому автографу.

По воспоминаниям А. И. Цветаевой, свою сказку М. А. Мейн рассказывала дочерям летом 1904 г., в Шварцвальде, куда семья вынуждена была поехать из-за ее болезни.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали – кого, и она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

– Кого – больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? – с явным замешательством (и явно оттягивая) – мать. – Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо…

– Да, – неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. – А все-таки – кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку – больше?

– Жила-была мать, у нее были две дочки…

– Муся и я! – быстро перебила Ася. – Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася… Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла… и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная…

– Да, – подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, – две дочери, старшая и младшая.

– А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, – возбужденно продолжала Ася, – а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

– Да, – подтвердила мать.

– А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик – одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая – в это время – так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и вот раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и – она была очень, очень добра! – ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) – сразу влезла – и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенно – и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа – и та разбилась на четыре части вдребезги!

– Да, – снова подтвердила мать. – Отца у них не было, только мать.

– А отец умер – от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

– При чем Захарьин, – внезапно очнулась мать, – это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

– А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбьи хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти… Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня страшно ущипнула!

– Врешь! – от негодования и изумления прохрипела я. – Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала мой карандаш, с «Муся» чернилом.

– Ма-ама! – заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меняя рейс. – А когда человек сказал да, а во рту – нет, то что же он сказал? Он ведь два сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

– Кто куда пойдет? – спросила мать.

– В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

– Гм… – задумалась мать. – У нас – не знаю. У католиков на это есть чистилище.

– Я знаю! – торжествующе Ася. – Чистильщик Дик[19], который маленькому Лорду подарил

19 … чистильщик Дик… маленькому Лорду… – Из повести американской писательницы Френсис Бернет (1849–1924) «Маленький лорд Фаинтлерой».

красный футляр с подковами и лошадиными головами.

– И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала…

– А я знаю! – я, молниеносно – Разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух…

– Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

– Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда – одну…

– И я знаю какую! – Ася.

– Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел делать неприятность той даме – потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

– Может быть, – сказала мать, прислушиваясь, – но я этого и сама не знала.

– Потому что он был в нее влюблен! – торжествовала я, и уже безудержно: – И ему лучше было ее видеть в могиле, чем…

– Какие африканские страсти! – сказала мать. – Откуда это у тебя?

– Из Пушкина, Но я другому отдана[20], но буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

– А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

– Нет, мама, в «Курьере»[21] – совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

– Мама, что такое молочная сестра? – спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

– Дочь кормилицы.

– А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

– Вот.

– Фу! – сказала Ася.

– А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

– Не твоя, – подтвердила мать. – Потому что Асю кормила я, а тебя – кормилица. Твоя молочная сестра – дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы – был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не моги найти.

– А у тех девочек, которых ютом убили, сколько было кормилиц? – спросила Ася.

– Ни одной, – ответила мать, – их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». – «Нет, – сказал разбойник, – я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту – выбрала, а ту… Ну, которую же?» – «Нет, – сказала мать. – Скорей ты умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я – сама осужу одну из моих дочерей на’ смерть».

– А кого, мама, она все-таки больше жалела? – не вытерпела Ася. – Потому что одна была болезненная… плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило…

– Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку… и вообще под ее стулом всегда была помойка, – я, с ненавистью.

– Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее – больше любила?

20 «Но я другому отдана…» и т. д. – Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина.

21 «Курьер» – еженедельная газета, выходившая в Москве в 1897–1904 гг.

– Может быть… – честно сказала мать, – то есть больше – жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

– Мама, не забудь про аппендицит! – взволнованно, Ася. – Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, – тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит – и она бы, наверное, умерла – но ночью приехал доктор Ярхо – из Москвы – и даже без шапки и без зонтика, – а шел даже град! – и он был совершенно мокрый. Это – правда – мама, святой человек?

– Святой, – убежденно сказала мать, – я святее не встречала. И притом – совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь какая гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей…

– Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор – да? А когда доктор заболеет – кто его спасет? Просто – Бог?

– Всегда – Бог. И тогда тебя – Бог. Через доктора Ярхо[22].

– Мама, – я, устав слушать про Асю, – а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот – пузо? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

– Непривычно, – сказала мать. – Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здравие свечу.

– Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? – после долгого общего молчания спросила Ася. – Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он та'к – ушел?

– Не ушел, – сказала мать. – Не ушел, а сказал ей следующее: «Зажжем в церкви две свечи, одна будет…»

– Муся! А другая – Ася!

– Нет, имен в этой сказке нет. «…левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и…» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых…

– Мама! Одинаковых не бывает Одна была все-таки чу-уточку, кро-охотку…

– Нет, Ася, – уже строго сказала мать, – я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», – сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть – ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи – как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет – другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

– А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? – Ася.

– Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже – с двух разных сторон – разбойник слева, мать справа – потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла – и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви – а против церкви – солнце вставало! – разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и –

– Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чу-уточку… – взволнованно, Ася.

– Две черные, – трезво я. – Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, – то все опять сначала.

– Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев… Как вчера поставили – так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли – неизвестно, но когда она опомнилась – разбойника не было – как и куда ушел – неизвестно. Не дождались его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и…

– Мама! Это был – разбойник! – закричала я. – Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога, только ужасно жаль.

– Что – жаль? – спросила мать.

22 Доктор Ярхо – детский врач в семье Цветаевых.

– Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, – поплелся – ни с чем! – она, конечно… я бы, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

– Вышла бы за него замуж, – поправила мать. – Женятся – мужчины.

– Потому что она его и вперед любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

– Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, – сказала мать взволнованно, – разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей…

– Нет, – сказала я. – Ей бы по ночам было очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели… Тогда, мама, я сама бы стала отшельником и поселилась в канаве…

– А дети? – спросила мать глубо'ко-глубо'ко. – Разве можно бросить детей?

– Ну, тогда, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку.

1934
Elancourt – сентябрь
Clamart (30 октября – 1 ноября)

То, что было

I. Волшебный цвет

Он был учителем Андрюши, студент в серой тужурке, с добрыми карими глазами, щурившимися от света и смеха. Утром он ходил в университет, после обеда учил Андрюшу Закону Божьему, русскому и арифметике, вечером был наш. Т. е. это так говорилось, а по-настоящему он был только Асин. Когда она за обедом поднимала свое вечное и-и-и-и, – а это случалось сначала за супом, потом за вторым, – после долгих няниных уверений, что от супа растут, а от котлеты хорошеют, после маминого стояния на коленях у ее креслица, после папиного финального: «Иль съешь или вон из-за стола!», стоило ему только шепнуть ей несколько слов на ухо, как она бралась за ложку и молча глотала все требовавшееся.

Для него она пожелала сняться. – «Мама, он уедет и увезет меня с собой!» В фотографии она положила одну ногу на другую, улыбнулась и сидела неподвижно даже после того, как фотограф любезно пригласил ее сойти с места. Когда ей на Рождество подарили куклу, она назвала ее Аркашей, хотя слишком русский костюм скорее напоминал полотера. По вечерам он рассказывал нам сказки, – конечно не нам, а только ей. – «Знаешь эдак, Асенька…» (он немного заикался) «…жила, эдак, одна старушка, эдак. И вот приплыла она к лежанке… Не старушка, эдак, а старик еще один был. Вышел он утром к морю, эдак, ты понимаешь? Смотрит – в сетях, эдак, старушка, то бишь рыбка… Ты понимаешь?»

– Да! – твердо отвечала она.

– И вот, эдак, зажили они втроем. Смотрит старичок – опять разбитое корыто, а в нем, эдак, старушка…

Я ясно чувствовала, что здесь что-то не то. Когда мама читала нам о старичке, старушке и рыбке, выходило гораздо понятнее. Во-первых, рыбка была не простая, а зо-ло-та-я, во-вторых, случались разные вещи, о к<отор>ых Аркадий Александрович совсем не упоминал, в-третьих, все кончалось не так скоро.

Но Асе его сказка нравилась больше маминой, – ведь рассказывал он. Когда мы гуляли на бульваре, Ася первая замечала его в группе студентов на скамейке у памятника Пушкину.

Ни нянины просьбы, ни мое ворчанье не помогали. Приходилось бросать лопатки, снежные домики, брать ее за руку и мчаться с ней что есть духу к заветной скамейке.

– А-а, это ты, Асенька? Гуляешь, эдак? Да, хорошо… А это мои товарищи… – смущенно бормотал Аркадий Александрович, потирая красные руки без перчаток. Ася сидела у него на коленях и считала:

– Раз, два, четыре… Когда я вырасту… Пять и три… Тогда мы с тобой… Раз и два…

Студенты, не понимая, смеялись. Аркадий Александрович смеялся и понимал, – Ася высчитывала по пальцам, сколько лет ему еще ждать свадьбы с ней.

Однажды утром к нам в комнату бомбой влетела наша немецкая бонна. – Забрали, забрали! Verloren! Grosser Gott! Er Jung![23] Что видет теперь из ней? Нищасни маладой шилавек! Нагрубил профессор! Ах, мой Бог! Ни риба ни мяс!

Мы поняли только последнее: Аркадий Александрович ни рыба ни мясо. Но чего же тут такого ужасного?

Ася тем не менее затянула свое и-и-и, сначала тихо, потом все громче, безудержнее, безутешнее…

Не пришлось ей проститься с Аркадием Александровичем. Он был выслан из Москвы. Много времени спустя мама застала ее за странным занятием: она собирала на коленях пыль по углам и нежно целовала. На вопрос: «Да что с тобой?» сквозь внезапные и-и-и с трудом можно было понять: «Как тужурка… тоже серая!»

Ей тогда было 4,5 года.

II. Литература

А когда Онегин потом пришел к Татьяне, она была уже замужем и не могла его любить. «Но я другому отдана и буду век ему верна…» А раньше его она любила, а он ее нет.

Я подхожу к зеркалу. Лицо круглое и какое-то глупое. Нет, совсем не похожа на Татьяну, скорей на Ольгу. Но Ольга скучная.

– Муся, обедать!

Но ведь Татьяна тоже была сначала маленькой. Может быть… может быть, она тоже сначала была такая? Она любила книги, я тоже люблю книги. Она не любила играть, я тоже не люблю играть. Совсем я не похожа на Ольгу! Очень нужно брать Ольгу, пусть Ася ее берет! Я решительно не хочу ее.

– Муся, обедать!

Все уже сидят за столом. Мое место рядом с мамой. Он как раз напротив меня, между Лёрой и Альфонсинкой.

– Мама, можно мне сесть рядом с Александром Павловичем?

– А зачем?

– Так!

– Ну, иди. Только совершенно не понимаю, зачем это тебе понадобилось.

Мы меняемся с Лёрой местами.

За обедом всегда говорят о чем-то непонятном. Папа рассказывает о филологах и юристах. Нам лучше нравятся филологи. Раз вечером мы видели одного юриста, – он был в желтом костюме, говорил очень громко, рассказывал папе свою жизнь, потом писал ее, потом попросил денег, а когда уходил, свалился с лестницы и сказал, что это часто с ним бывает.

Слава Богу, что Александр Павлович не юрист. Он – филолог, папа тоже филолог. Подали третье. Опять blanc-manger[24]. Нам его всегда дают в сочельник, когда мы обедаем наверху в детской, и мы его выкидываем в форточку. Но ведь сегодня не сочельник! Ася плаксиво морщится, Андрюша льет воду в тарелку, я грустно прошу маму позволения не есть.

– Что с тобой, Мусенька? – удивляется Александр Павлович.

– Так, что-то есть не хочется! – безнадежно отвечаю я. Пусть он думает, что от любви к нему (я ничего еще не сказала, но он же должен понять!).

А может быть, правда от любви! Когда очень сильно кого-нибудь любишь, – это рассказывала нам Альфонсинка, – то никогда ничего не ешь. Одна барышня даже умерла, и он плакал на ее могиле и приносил ей незабудки. Потом он тоже умер.

Обед кончен, и мы наверху.

– M-elle Alphoncine, j’ai besoin d’ecrire une lettre!

– A qui?

23 Потерян! Великий Боже! Он молод! (*нем.*).

24 Бланманже – род желе из сливок, сахара и желатина (*фр.*).

– Donnez moi je Vous prie du papier.[25]

Она вынула розовую бумажку. Я пишу, она глядит мне через плечо. Письмо не ладится. Во-первых, я начала: «Дорогой Онегин!» А вдруг он не поймет, что это ему? Во-вторых, я не знаю, как писать: «терпение». Альфонсинка тоже не знает.

– Oh, je sais ce que nous allons faire. J'ai une tres jolie lettre d'amour, tu n'as qu'a la traduire[26].

Сказано – сделано. «Alexandre, que c'est mal…»[27]. Я перевожу: «Александр, какой ты гадкий» – «de trahis ainsi la confiance…»[28] «…что выдаешь так доверие…»

Как хорошо писать с французского! Все так торжественно, такие трудные умные слова!

Только почему на ты? Альфонсинка утешает меня, что это всегда так делается. Письмо готово. Но как передать его? Альфонсинка не хочет, – вдруг мама увидит! Андрюша терпеть не может Александра Павловича и нарочно не передаст, Лёра ушла, – Ася!

– Ася, а я тебе подарила вчера фартук для Аркаши, – помнишь?

– Аркаша фартуков не носит. Он мальчик!

Молчание.

– Ася: хочешь моего прошлогоднего червяка в яичке, белого?

– А что я тебе дам?

– Ничего, я тебе его так подарю!

Ася уничтожающе смотрит на меня. Я смущаюсь: Только ты одну вещь отнесешь Ал<ександу> Павловичу, хорошо?

– А он целый?

– Да, я тебе еще яичко дам!

– Еще зеленый карандаш дай, тогда я пойду…

Зеленый карандаш! Ни у кого нет зеленого… Да, но синий с желтым ведь зеленый.

– Бери!

Мы три раза стукаемся лбом, и Ася летит к Алекс<андру> Павловичу, крича на весь дом: «Вам Муся письмо написала! Вам Муся письмо прислала!»

Проснувшись на другой день, я сразу почувствовала, что сделала какую-то глупость. А вдруг он за завтраком прочтет его вслух? Папа непременно выгонит меня из-за стола. Уроки я готовила невнимательно, на рояле играла еще хуже, – мой учитель Василий Иванович и мама никак не могли понять, что со мной сделалось. Наконец пробило двенадцать. Зовут завтракать. А может быть, не пойти совсем? Прочтут без меня. Но все равно придется идти обедать. А может быть, и обедать не идти? Тогда он принесет мне незабудки. Попросить его не читать? Но поздно: я уже за столом.

Разговор идет о Лёриной подруге Раечке Оболенской.

– Терпеть не могу этого типа курсистки! – говорит мама. – Ни женственности, ни такта…

Лёра молчит и смотрит в тарелку. Сейчас она встанет из-за стола и начнется скандал.

– Раечка – прекрасное существо! – вдруг начинает А<лександр> П<авлович>. – Непосредственное, живое, искреннее…

Почему мне так неприятно слушать это? Я очень люблю Раечку, но…

– Несмотря на ее манеры, она мне нравится… – продолжает А<лександр> П<авлович>.

– Раечка Оболенская совсем не прекрасное существо! – вдруг заявляю я.

– Тебя не спрашивают! – говорит папа.

– Маме она не нравится, и мне она тоже не нравится.

25 – Милая Альфонсина, мне нужно написать письмо
– Кому?
– Дайте мне, пожалуйста, бумагу (*фр.*).

26 О, я знаю, что мы будем делать. У меня есть очень маленькое любовное послание, только ты должна его перевести (*фр.*).

27 «Александр, как это плохо…» (*фр.*)

28 «Таким образом обмануть доверие…» (*фр.*)

– Муся! – мама поражена. Алекс<андр> Павлович улыбается и переглядывается с мамой.

– Когда я кончу курс, я женюсь на Раечке и увезу ее в Екатеринбург.

– А я поеду за вами.

– А мы поедем рано утром, когда ты будешь спать…

– А я не буду спать!

– Я увезу ее к себе на Урал! – Алекс<андр> Павлович радостно хохочет, и желтая бородка его трясется, а глаза делаются, как щелки.

– Я отравлю ее! – тут я бросаю вилку и открываю рот вовсю.

– А тебя сошлют в Сибирь!

– А я убегу, я убью, я ее, я вас, я, я…

Начинается ужасный крик. Папа сердится на маму, – «это все книги!» – мама на Альфонсинку, Лёра на А<лександра> П<авловича>, – зачем меня дразнит, Андрюша страшно доволен и потихоньку дергает Асю за ногу, Ася сует под стол противные бобы…

Я вылетаю из-за стола и бегу наверх. На постели я плачу, уткнувшись лицом в подушку. Стучат. Пусть стучат! Дверь на крючке. Еще раз…

– Мусенька, я мириться пришел, отопри мне!

«Это Лёра его подослала», – соображаю я, все еще плача, и не открываю. Вскоре пришла Альфонсинка и начала меня утешать.

– Это потому, что ты еще маленькая! – говорила она по-франц<узски>. – Будешь большая, все переменится. Не надо обращать внимание на молодых людей, надо быть холодной ко всем.

– Да, но Татьяна вовсе не была холодной ко всем, она тоже первая написала, – возражала я. Но Альфонсинка не знала Татьяны.

Утешившись немного, я принялась за новое письмо, на этот раз уже не перевод. Тут были и угрозы, и просьбы, и упреки, но больше всего восклицательных знаков. Ася, в обмен на оловянную птичку, согласилась передать и это письмо.

После ужина, прошедшего очень тихо, я получила его обратно с подчеркнутыми красным карандашом ошибками.

Было над чем задуматься. Зачем подчеркивать ошибки? Ведь это же не диктант. Разве Онегин подчеркивал ошибки в Татьянином письме? Разве Онегин был влюблен в Раечку? Разве он хотел ее увезти на Урал? Разве он учился в университете? Разве у него была желтая бородка? Разве…

Да разве я-то похожа на Татьяну?

Когда Альфонсинка вечером подошла к моей постели, я сказала, что больше не люблю Алекс<андра> Павловича.

– Конечно, не стоит! – сказала она, – я совсем не понимала, что тебе в нем нравится. Такой худой и к тому же… repetiteur[29]. Я бы на твоем месте взяла кого-нибудь из знакомых твоего отца. Но у тебя много времени впереди, ведь тебе только семь лет…

– Я совсем никого не возьму! – твердо ответила я.

<1911–1912?>

Чёрт

Связался чёрт с младенцем

Чёрт жил в комнате у сестры Валерии, – наверху, прямо с лестницы – красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль.

Начиналось с того, что меня туда зазывали: «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет», либо:

29 Репетитор (*фр.*).

«Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет (протяжно) сюрпри-из». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, чту это за «кто-то» и какой это сюрприз, и зазывавшие знали, что – знаю. Были это – либо Августа Ивановна, либо Асина няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда – женщина, и никогда – мать, и никогда – сама Валерия.

И вот, полуподталкиваемая, полу – комнатой – втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком – входила.

Чёрт сидел на Валериной кровати, – голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Чёрт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего чёрта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти – догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.

Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей – уши. Чту было – хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног – так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять-таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил – он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, – не атрибуты, главное были – глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы – без всего.

Действия не было. Он сидел, я – стояла. И я его – любила.

По летам, когда мы переезжали на дачу, Чёрт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валериной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетавшей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валериной кровати сидел Чёрт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. Общими были: масть с серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед: печи – летом, подпотолочный рост – и полная неподвижность. Печь стояла так смирно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я с особой усладой тайного узнавания прижималась к ней стриженым, горячим от лета, затылком, читая Валерии вслух запрещенные матерью и поэтому Валерией разрешенные – в руки данные – «Мертвые Души», до которых – мертвецов и душ – так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться – и мертвецы и души – как нарочно слышался шаг матери (кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только, в нужную минуту – как по заводу – проходила) – и я, обмирая от совсем уже другого – живого страха, пихала огромную книгу под кровать (ту!). А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаруживалось, что их уже нет, что они уже опять отъехали вперед – на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до мертвых душ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшнотой названия: не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия.

…Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой – к ледяному. Но к нему – только в образе печки, к нему – тому – никогда. Впрочем, все же – да, но это потому что на руках и через реку.

Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь – одна, на середине Оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто, сразу, тону. Уже потонула. Начнем сначала: тону на середине Оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла – взлет (который знаю с первой секунды!) – я – на руках, высоко над Окой, голова под небом, и несут меня «утопленники», собственно – один и, конечно, совсем не утопленник (утопленник – я!), потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь, и он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею – по праву всякого утопающего.

Шагаем с ним по водам, то есть шагает – он, я – еду. А другие («утопленники» – или кто? Его подвластные) громко и радостно, где-то под низум – во-ют! И, ступив на другой берег –

тот, где дом Поленова и деревня Бёхово – он, с размаху ставя меня на землю, с громовым – так и гром не грохочет! – смехом:

– А когда-нибудь мы с тобой поженимся, чёрт возьми!

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «чёрт возьми» – из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и, как самый обыкновенный мужик – или студент – «чёрт возьми!», – точно он может этого бояться – или желать, – точно его, или меня на его руках, – вообще может взять чёрт! И никогда меня не омрачила мысль, что это – для меня из снисхождения к моему малолетству, точка над і собственной identité[30], чтобы я не ошиблась, что он – действительно – он. Нет, он просто играл – в простого смертного, что «я не я и лошадь не моя».

Нужно сказать, что, за ошеломляющим – из его уст – «чёрт возьми», само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его, во мне, отзвуках, сама несколько отходила – о, нестерпимость этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам… Он со мной – поженится! На совершенно мокрой, маленькой…

И вот, однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока – не в силах:

– Мама! Мне сегодня снились… утопленники… Будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот, главный утопленник, мне сказал: «Мы с тобой когда-нибудь поженимся, чёрт возьми!»

– Поздравляю! – сказала мать. – Я тебе всегда говорила! Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты…

Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я, торопливо:

– Но это, правда, были утопленники, самые-совершенные, синие…

> И в распухнувшее тело
> раки черные впились!

– И ты находишь, что это – лучше? – иронически сказала мать. – Какая гадость!

Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, – типа встреч, одна-единственная – неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериину трехпрудную комнату, но не один кто-то, а много, – целый шепчущий и тычущий пальцем круг: тут и няня, и Августа Ивановна, и весной, с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и другая Марья Васильевна, с лицом рыбы и странной фамилией Сумбул, и даже та портниха, у и от которой так пахнет касторкой (кумачом) – и все они, в голос:

– Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет…

Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, – мнусь. Наконец вхожу. И – о, ужас! Пусто. На кровати – никого. Его на постели – нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната – одна, как я – одна. Без него.

Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жар-птицыной ширме (за которой его, наверно, нет, ибо не будет же он играть в прятки!), от ширмы к книжному шкафу, – такому странному: где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с – как няня говорит – «безделюшками», от «безделюшек» к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа, от атласа к белой, в синюю клетку, печке, увенчанной уральским хрусталем и ковылем… В том же столбняке шагаю к окну, из которого видны тедеревья: серые ивы вокруг зеленой церкви, серые ивы моей тоски, местонахождения которых в Москве и на земле я так никогда и не узнала и не попыталась узнать.

С сосущим чувством: обману-ул! – стою, упершись лбом в первый низкий квадрат окна, жгу себе глаза удерживаемыми слезами, и опустив, наконец, глаза, чтобы отпустить, наконец, слезы… – на ватном дне окна, между двумя рамами, в зеленоватом стекле, как в спирту! – целая россыпь крохотных серых скачущих, страшно-веселых, вербных, с рожками-с-ножками, все окно превративших в вербную чёртикову бутыль.

30 Тождественностью (*фр.*).

Вежливо улыбнувшись, как на слишком младенческую игрушку, и постояв сколько нужно, чтобы не обидеть – не их, бессмысленно-скачущих и меня знать-не-знающих, а – того, немножко утешенная, немножко обиженная, в последний раз проверив пустующую кровать – выхожу.

– Ну как? Ну как? – с гримасами и ужимками няня. Августа Ивановна, две Марьи Васильевны, портниха Марья Игнатьевна и еще три нафталинных монашки, которые, при особых обстоятельствах времени и места, дико щекоча, запихивают меня в Валериин красный сундук за перегородкой.

– Ничего. Спасибо. Очень хорошо, – я, нарочито-медленно и напряженно-непринужденно проходя сквозь их тянущиеся и несмеющие руки. (Проходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень уж похожа, и у няни почему-то из угла рта висит язык…)

Чёртики в окне и страхобесие у двери не повторились. Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог прийти, – или искус, испытание взрослости и верности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящего и единственного, на то вербное множество? То есть, встав спиной к пустой – им – кровати, не стану ли попросту – играть?

Нет, с игрой было кончено! Дьявол моего младенчества мне, среди много другого, оставил в наследство: неизбывное, как догов зевок, от всего, что игра: «Ску-учно!»

Почему Чёрт жил в комнате Валерии? Тогда я об этом не думала (а Валерия так никогда и не узнала). Это было так же просто, как то, что я живу в детской. Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте, а Чёрт – в комнате Валерии. Тогда это был факт.

А теперь – знаю: Чёрт жил в комнате Валерии, потому что в комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого – «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь, как те на Бога, но никогда не предав своего змея. («Это тебе Лёра дала?» – «Нет, сама взяла».) Чёрт в Валериину комнату пришел на готовое место: моего преступления – материнского запрета.

Но было еще – другое. В Валериной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» – и первый роман моей жизни – «Anaïs». В ее комнате была любовь, жила – любовь, – и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц – но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня – глазами глядят! – серебряные пилюли.

Конфетки – но страшные, пилюли – но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно – загораживаясь спиной и лбом в комод – глотала, как я – лбом в шкаф – «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли – ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж – за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» – «Нет». – «Почему?» – «Потому что тебе не нужно». – «А если съем – я умру?» – «Во всяком случае, заболеешь». Потом (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что пилюли – самые невинные, contre les troubles[31] и т. д. – самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко – малиновым.

31 Успокоительные (*фр.*).

А не приходил ли Чёрт к самой Валерии? Ведь она-то не знала, что он ко мне приходит, так же и я могла не знать, что он – к ней. (Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, – ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы.) И все же – нет. Нет, ибо она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, – вообще всю жизнь пропоступала. Первая же приметаего любимцев – полная разобщенность, отродясь и от-всюду – выключенность.

Нет, Чёрт никакой Валерии не знал. Но он и матери моей не знал, такой одинокой. Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была – его девочка, его чёртова сиротиночка. Чёрт в меня, как в ту комнату, пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная комната – и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге.

Но одна моя встреча с ним, как ни странно, произошла через мать, через…

«Красный карбункул, – провозгласила мать. – Что такое «Красный карбункул»? Ну, ты, Андрюша!» – «Не знаю», – твердо ответил он. «Ну, что тебе кажется?» – «Ничего не кажется!» – так же твердо ответил он. – «Но как это может быть, чтобы ничего не казалось! Всегда – кажется! И тебе – кажется! Кар-бун-кул. Ну?» – «Карболка?» – равнодушно предложил Андрюша. Мать только рукой махнула. «Ну, а ты, Асенька? Только вслушайся внимательно: кар-бун-кул. Неужели тебе ничего не представляется?» – «Пред-ставляется!» – слегка преткнувшись, но с большим апломбом выпалила ее любимица. «Ну – что же?» – с страстной жадностью ухватилась мать. «Только не знаю – что!» – с той же быстротой и апломбом – Ася. «Ах нет, Асенька, ты, должно быть, действительно, слишком мала для такого чтения. Мне это дедушка читал, когда мне было уже семь лет, а тебе только пять». – «Мама, мне тоже уже семь!» – наконец не выдержала я. «Ну и что же?» Но не последовало – ничего, потому что я уже опять оробела. «Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?» – «Такой красный графин?» – упавшим голосом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkeln[32]). «Нет, но ближе. Карбункул – это красный драгоценный камень, по бокам (кар-бун-кул) – граненый. Поняли?»

Все шло хорошо до Зеленого. Кто-то приходит – не то в погребок, не то в пещеру. «А Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует». – «Кто такой Зеленый? – спросила мать, – ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?» – «Охотник», – равнодушно сказал Андрюша. «Какой охотник?» – наводяще спросила мать.

Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
Gib sie wieder her!
Gib sie wieder her!
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schieassgewehr,
Sonst wird dich der Jaeger holen
Mit dem Schiess-ge-we-ehr! – [33]

с полной готовностью пропел Андрюша. «Гм… – и намеренно минуя меня, уже итак же рвущуюся с места, как слово с уст. – Ну, а ты, Ася?» – «Охотник, который ворует гусей, лисиц и

32 Графин, сверкание (*нем.*).

33
Лис, ты украл гуся,
Сейчас же его отдай!
Сейчас же его отдай!
Иначе охотник придет с винтовкой,
Иначе охотник придет с винтовкой
И отправит тебя прямо в рай! (*нем.*)

зайцев», – быстро срезюмировала ее любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами. «Значит – не знаете? Но зачем же я вам тогда читаю?» – «Мама! – в отчаянии прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. – Я – знаю!» – «Ну?» – уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание книги. «Зеленый, это – der Teufel![34]«– «Ха-ха-ха!» – захохотал Андрюша, внезапно распрямляясь и сразу нигде не умещаясь. «Хи-хи-хи!» – угодливо залилась за ним Ася. «Нечего смеяться, она права, – сухо остановила мать. – Но почему же der Teufel, а не… И почему это всегда ты все знаешь, когда я всем читаю?!»

* * *

От Зеленого и «тасует», а отчасти и от маминой горничной Маши Красновой, все ронявшей из рук: подносы, сервизы, графины – и даже целых судаков под соусами! ничего не умевшей держать в руках, кроме карт, я к семи годам пристрастилась к картам – до страсти. Не к игре, – к ним самим: ко всем этим безногим и двуголовым, безногим и одноруким, но обратно-головым, и обратно-руким, самим себе – обратным, самим от себя отворотным, самим себе изножным и самим с собою незнакомым высокопоставленным лицам без местожительства, но с целым подданством одномастных троек и четверок. Что тут было в них, или, как Ася – ими играть, когда они сами играли, сами и были – игра: самих с собою и самих в себя. Это было целое живое нечеловеческое по-поясное племя, страшно-властное и не совсем доброе, бездетное и бездедное, не живущее нигде, как на столе или за щитком ладони, но тогда и зато – с какой силой! Что в дюжине – двенадцать яиц, этому меня учили – годы, но что в каждой масти – тринадцать карт и что тринадцать – чёртова дюжина – с этого бы меня не сбили даже в самом сонном сне. О, как сразу я, так медленно усваивавшая четыре правила – усвоила четыре масти! Как с первого раза я, до сего дня не уверенная в значении деепричастия и, вообще, назначении грамматики, усвоила значение каждой карты: все эти дороги, деньги, сплетни, вести, хлопоты, марьяжные дела и казенные дома – значение карты и назначение карт. Но больше всего, даже больше бубнового неженатого короля, моего жениха через девять лет, даже больше пикового короля, – грозного, тайного, – Лесного Царя, как я его звала, даже больше червонного валета сердца и бубнового валета дорог и вестей (дам я, вообще, не любила, у всех у них были злые, холодные глаза, которыми они меня, как знакомые дамы – мою мать, судили), больше всех королей и валетов я любила – пиковый туз!

Пиковый туз у Маши был удар, и удар – был, удар занесенным черным вверх глядящим сердцем конца алебарды – в сердце. Пиковый туз был – Чёрт! И когда та же Маша, сняв положенные мне, бубновой, ибо незамужней, даме нб сердце карты и открывши последнюю, сердечную, сама пугалась: «Ай-ай-ай, Мусенька, плохое твое дело, а под самым низом-то – удар! Ну, ничего, может, еще никто не помрет – да кому и помирать? Дедушка – померли, старого больше у нас никого – значит, мамаша заругает или опять с Густыванной подерешься», – я, со всем превосходством знания, со всей непоколебимостью тайны: «Это не удар, – а – секрет». Удар был – привет. Удар по мне привета. Удар по мне радости и страха: любви. Так я, несколько лет спустя, в генуэзском Нерви, нечаянно завидев из окна гостиницы «Beau-Rivag» и направляющегося к ней: в ней заточенным нам с Асей – революционера «Тигра», испугалась от радости – так, что швейцарская бабушка, испуганно: «Mais, qu'as-tu donc? Tu es toute blanche! Mais, qu'as-tu donc vu?»[35]. Я, внутри рта: «Lui»[36].

Да, туз был – Lui. Он, сгустившийся до черноты и сократившийся до клинка. Он, собравшийся в удар, как тигр – в прыжок. Позже и этого стало много, позже удар с сердца, на котором лежал, перешел – в сердце. Изнутри меня – шел, толкая – на все дела.

Но был у меня, кроме пикового туза, еще один карточный Он, и на этот раз не от русской

34 Чёрт (*нем.*).

35 Но что с тобой? Ты совсем бледная! Да что с тобой? (*фр.*).

36 Это Он (*фр.*).

Маши, а от дерптской Августы Ивановны, непосредственно с его баронской родины, и уже не гадание, а игра, общеизвестная детская игра с немножко фамильярным названием «Der schwarze Peter»[37].

Игра состояла в том, чтобы сбыть другому с рук пикового валета: Шварцего Петера, как в старину соседу – горячку, а еще и нынче – насморк: передать: наградив, избавиться. Сначала, когда карт и играющих было много, никакой игры, собственно, не было, вся она сводилась к круговой манипуляции карточным веером – и Петером, но когда, в постепенности судьбы и случая, стол от играющих и играющие от Черного Петера – очищались, и оставалось – двое, – о, тогда игра только и начиналась, ибо тогда все дело было в лице, в степени твердокаменности его. Прежде всего, это была дисциплина дыхания: не дрогнув вынести каждое решение – и перерешение – то схватывающей, то спохватывающейся, и вновь промахивающейся, и вновь опоминающейся партнеровой руки. Дело берущего было – не взять, дающего – сдать. Берущего – почуять, дающего – сбыть, сбить другого с верного чутья, внушить всем своим изолгавшимся существом – другое: что черное – красное, а красное – черное: Шварцего Петера держать с невинностью шестерки бубен.

О, какая чудесная, магическая, бестелесная игра: души – с душою, руки – с рукою, лица – с лицом, всего – только не карты с картой. И, конечно, в этой игре я, с младенчества воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в этой игре мастером была – я.

Не буду говорить то, чего не было, ибо вся цель и ценность этих записей в их тождественности бывшему, в тождестве того, признаюсь, странного, но бывшегоребенка – самому себе. Просто было бы сказать и естественно было бы мне поверить, что я моего Черного Петера соседу совсем не подсовывала, а, наоборот, – отстаивала. Нет! Я в этой игре оказалась его настоящей дочерью, то есть страсть игры, то есть – тайны, оказывались во мне сильней страсти любви. Это была еще раз моя с ним тайна, и никогда, может быть, он так не чувствовал меня своей, как когда я его так хитростно и блистательно – сдавала – сбывала, еще раз мою с ним тайну – скрывала, и, может быть, главное, – еще раз умела обойтись – даже без него. Чтобы все сказать: игра в schwarze Peter была то же самое, что встреча с тайно и жарко любимым – на людях: чем холоднее – тем горячее, чем дальше – тем ближе, чем чуждее – тем мойе, чем нестерпимее – тем блаженнее. Ведь когда Ася, и Андрюша, и Маша, и Августа Ивановна – для которых это входило в игру – с гиканьем и тыканьем в живот, как бесы кривляясь и носясь вокруг меня, орали: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – я даже отыграться не могла: даже одной хотя бы улыбкой из всей заливавшей меня тайной радости. Задержанный аффект радости бросался в руки. Я дралась. Но зато – с высоты какой убежденности, с какой через-край наполненностью я, додравшись, роняла им в веселые лица: «Я – Schwarze Peter, зато вы – ду-ра-ки».

Но так же трудно, если не еще трудней, как не просиять лицом от Шварцего Петера, было не потемнеть лицом, когда в руке, вместо наверного его – вдруг – шестерка бубен, пара к уже имеющейся, уводящая меня из игры и Черным Петером оставляющая – другого. И плясать вокруг шварце-петринской Августы Ивановны с преступными, издевательскими, предательскими криками: «Schwarze Peter! Schwarze Peter!» – было, может быть, еще большим геройством (или усладой), чем каменным, а затем и дерущимся столбом стоять среди беснующихся «победителей».

Может быть, я эту игру рассказала слишком бестелесно? Но что тут было рассказывать! Ведь действия не было, вся игра была внутри. Были только жесты рук, жест сбрасываемой карты, важной только, как пара: тем, что ее можно было сбросить. Без козырей, без ставок, без взяток, без (самоценности) королей, дам, валетов, – карт, с колодой, состоящей только из одной карты: него! – которого нужно было сбыть. Игра не взять хотящая, а отдать. В этой игре, по ее бесплотности и страшности, действительно было что-то адово, аидово. Убегание рук от врага. Так друг другу, в аду, смеясь и трясясь, сбывают горящий уголь.

Смысл этой игры – глубок. Все карты – парные, он один-один, ибо его пара до игры – сброшена. Всякая карта должна найти свою пару и с ней уйти, просто – сойти со сцены, как

37 «Черный Петер» (*нем.*).

красавица или авантюристка, выходящая замуж, – со стола всех еще возможностей, всеможности, единоличных и, может быть, исторических судеб – в тихую, никому уже не любопытную, не нужную и не страшную стопу отыгранных – парных карт. Предоставляя ему – весь стол, его – своей единственности.

Еще одним видом моего интимного общения с Петером была игра «Чёрт-чёрт, поиграй да отдай!», игра – только от слова «поиграй», ему – игра, а вовсе не просителю, заветную вещь которого: папины – очки, мамино – кольцо, мой – перочинный нож, он – заиграл. «Никак не иначе, как чёрт занес! Привяжи, Мусенька, платочек к стуловой ножке и три раза, да так – без сердца, ласково:

«Чёрт-чёрт, поиграй да отдай, чёрт-чёрт, поиграй да отдай…»

Стянутый узлом платок концами торчал, как два рога, малолетняя же просительница сомнамбулически шлялась по огромной, явно пустой зале, ничего не ища и во всем положась и только приговаривая: «Чёрт-чёрт, поиграй да отдай… Чёрт-чёрт…» И – отдавал, как рукой подавал: с чистого подзеркальника, где только что и столько безнадежных и очевидных раз не было ничего, или просто случайно руку в карман – там! Не говоря уже о том, что папе пропажу он возвращал непосредственно на нос, а маме – на палец, непременно на тот.

Но почему же Чёрт не отдавал, когда потеряно было на улице? А ноги не было, чтобы привязать! Не к фонарному же столбу! Другие привязывали куда попало (и, о, ужас! Ася однажды, заторопясь, даже к козьей ножке биде!), у меня же было мое заветное место, заветное кресло… но не надо про кресло, ибо все предметы нашего трехпрудного дома – заводят далёко!

С водворением в доме парижанки Альфонсины Дижон «Чёрт-чёрт, поиграй» удлинился на целый католический вежливый отросток: «Saint-Antoine de Padoue, trouvez-moi ce que j'ai perdu»[38], что в контексте давало нечто нехорошее, ибо после третьего чёрта, без запятой и даже без глотательного движения, как припаянный: «Saint-Antoine de Padoue…» И мои вещи находил, конечно, Чёрт, а не Антоний. (Няня, с подозрением: «Ан-то-он? Свя-то-ой? На то и французинка, чтоб в такое дело святого мешать!») И до сих пор не произношу твоего святого, Антоний Падуанский, имени, без того, чтобы сразу в глазах: торчок бесовского платка, а в ушах – собственное, такое успокоительное, такое успокоенное – точно уже все нашла, что когда-либо еще потеряю! – воркование: «Чёрт-чёрт, поиграй да отдай, чёрт-чёрт…»

Одной вещи мне Чёрт никогда не отдал – меня.

Но не Валериины козни. Не материнский «Карбункул». Не Машин картеж. Не остзейская игра. Все это было только – служба связей. С Чёртом у меня была своя, прямая, отрожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог – Чёрт!» Бог – с безмолвным молниеносным неизменным добавлением – Чёрт. И здесь уже Валерия была ни при чем – да и кто при чем? И в каких это – книгах и на каких это – картах? Это была – я, во мне, чей-то дар мне – в колыбель. «Бог – Чёрт, Бог – Чёрт, Бог – Чёрт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства и не можб остановиться, пока не остановится мысленный язык. «Дай, Господи, чтобы я не молилась: Бог – Чёрт», – и как с цепи сорвавшись, дорвавшись: «Бог – Чёрт! Бог – Чёрт! Бог – Чёрт!» – и, обратно, шестым номером Ганона: «Чёрт – Бог! Чёрт – Бог! Чёрт – Бог!» – по ледяной клавиатуре собственного спинного хребта и страха.

Между Богом и Чёртом не было ни малейшей щели – чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность. Бог, из которого вылетал Чёрт, Чёрт, который врезался в «Бог», конечное г (х) которого уже было – ч. (О, если бы я тогда догадалась, вместо кощунственного «Бог – Чёрт» – «Дог – Чёрт», от скольких бесполезных терзаний я была бы избавлена!) О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская!

А – может быть – проще, может быть, отрожденная поэтова, сопоставительная – противопоставительная – страсть – и склад, та же игра, в которую я в детстве так любила играть: черного и белого не покупайте, да и нет не говорите, только наоборот: только да – нет, черное – белое, я – все, Бог – Чёрт.

38 Святой Антоний Падуанский, отыщи мне то, что я потеряла (*фр.*)

Когда я, одиннадцати лет, в Лозанне, на своей первой и единственной настоящей исповеди рассказала об этом католическому священнику – невидимому и так потом и не увиденному – он, верней тот, за черной решеткой, те черные глаза из-за черной решетки сказали мне:

– Mais, petite Slave, c'est une des plus banales tenta-tions du Démon![39] – забывая, что ему-то, тертому и матерому, – «banale»[40], а мне – каково?

Но до этой первой исповеди – в чужой церкви, в чужой стране, на чужом языке – была первая православная, честь честью, семилетняя, в московской университетской церкви, у знакомого священника отца, «профессора академии».

«А этот рубль ты после исповеди отдашь батюшке…» У меня в жизни в руке не было рубля, ни своего, ни чужого, а если на бедную медную одну копейку дают у Бухтеева два ириса, то сколько же на серебряный рубль? И не только ирисов, а книжек, вроде «Аксютка-нянька» или «Маленький барабанщик» (2 коп.). И это всё, и ирисы и Аксюток, я, за свою же неприятность с грехами, с утайкой грехов – ибо не могу же я рассказывать папиному приличному знакомому и заведомо расположенному ко мне ака-де-ми-ку, что я говорю «Бог – Чёрт»? И что хожу к Валерии в комнату на свидание к голому догу? И что, когда-нибудь, на этом голом доге – том главном утопленнике – женюсь? – итак, за свою же смертную опасность, а может быть, даже – смерть («одна девочка на исповеди утаила грех и на другой день, когда подходила к причастию, упала мертвая…»), должна отдать – сразу все, сама положить в руку «ака-де-ми-ку»?!

Холодный новый круглый, как нуль – полный, рубль как зубами врезался отточенным своим краем в руку, сжатую для верности в кулак, и я всю исповедь как ногами простояла на одном – не дам! И дала только в последнюю секунду, совсем уже уйдя, с величайшим усилием и насилием, и вовсе не потому что – плохо, а из страха: а вдруг батюшка погонится за мной через всю церковь? Нечего говорить, что мне, занятой рублем, и в голову не пришло осведомить батюшку о моих черных, серых делах. Батюшка спрашивал – я отвечала. А откуда ему было знать, что такое нужно спросить: «Не говоришь ли ты, например, Бог – Чёрт?»

Этого не спросил, спросил – другое. Первым его вопросом, первым вопросом моей исповеди было: «Ты чёртыхаешься?» Не поняв и сильно уязвленная в своем самолюбии признанно умной девочки, я, не без заносчивости: «Да, всегда». – «Ай-ай-ай, как стыдно! – сказал батюшка, соболезнующе качая головой. – А еще дочь таких хороших богобоязненных родителей. Ведь это только мальчишки – на улице…»

Слегка обеспокоенная взятым на себя неизвестным грехом, а отчасти из любопытства: что это я такое всегда делаю? – я, несколько дней спустя, матери: «Мама, что такое чёртыхаться?» – «Чёрты – что?» – спросила мать. «Чёртыхаться». – «Не знаю, – задумалась мать, – может быть – поминать чёрта? И вообще, откуда ты это взяла?» – «Так мальчишки на улице ругаются».

Вторым же вопросом батюшки, еще более, хотя иначе меня удивившим, было: «С мальчишками целуешься?» – «Да. Не особенно». – «С которыми же?» – «С Володей Цветаевым и с андреевским Борей». – «А мама позволяет?» – «С Володей – да, а с Борей – нет, потому что он ходит в Комиссаровское училище, а там, вообще, скарлатина». – «Ну и не надо целоваться, раз мама не позволяет. А какой же это Цветаев Володя?» – «Это сын дяди Мити. Но только я с ним очень редко целуюсь. Раз. Потому что он живет в Варшаве».

(О, Володя Цветаев, в красной шелковой рубашечке! С такой же большой головой, как у меня, но ею не попрекаемый! Володя, все свое трехдневное пребывание непрерывно раскатывавшийся от передней к зеркалу – точно никогда паркета не видал! Володя, вместо «собор» говоривший «Успенский забор» – и меняпоправлявший! Володя, заявивший обожавшей его матери, что я, когда приеду к нему в Варшаву, буду жить в его комнате и спать в его кроватке.

– Но при чем тут чёрт? Ах, все такое – чёрт: тайный жар.)

Своего не предав и все главное утаив, я, естественно, на другой день без радости – и не без робости – подходила к причастию, ибо слово матери и соответствующее видение: «Одна девочка на исповеди утаила грех» и т. д. – все еще стояли у меня в глазах и в ушах. До глубины

39 Но, маленькая славянка, это же одно из самых обычных искушений дьявола! (*фр.*).

40 Обычное (*фр.*)

я, конечно, в такую смерть не верила, ибо умирают от диабета, и от слепой кишки, и еще, раз, в Тарусе, мужик – от молнии, и если гречневая каша – хоть бы одна гречинка! – вместо этого горла попадет в то, и если наступить на гадюку… – от такого умирают, а не…

Поэтому, не упав, не удивилась, а запив теплотой, в полной сохранности отошла к своим – и потом меня все поздравляли – и мать поздравляли «с причастницей». Если бы знали и если бы мать знала – с какой. Радости поздравлениям, как и белому платью, как и пирожкам от Бартельса – из-за полной всего этого незаслуженности – не было. Но и раскаяния не было. Было – одиночество с тайной. То же одиночество с все той же тайной. То же одиночество, как во время бесконечных обеден в холодильнике храма Христа Спасителя, когда я, запрокинув голову в купол на страшного Бога, явственно и двойственно чувствовала и видела себя – уже отделяющейся от блистательного пола, уже пролетающей – гребя, как собаки плавают – над самыми головами молящихся и даже их – ногами, руками – задевая – и дальше, выше – стойком теперь! как рыбы плавают! – и вот уже в розовой Цветочной юбочке балерины – под самым куполом – порхаю.

– Чудо! Чудо! – кричит народ. Я же улыбаясь – как те барышни в Спящей Красавице – в полном сознании своего превосходства и недосягаемости – ведь даже городовой Игнатьев не достанет! ведь даже университетский педель не заберет! – одна – из всех, одна – над всеми, совсем рядом с тем страшным Богом, в махровой розовой юбочке – порхаю.

Что, мне об этом тоже нужно было рассказывать «академику»?

Есть одно: его часто – нет, но когда оно есть, оно, якобы вторичное, сильнее всего первичного: страха, страсти и даже смерти: такт. Пугать батюшку чёртом, смешить догом и огорошивать балериной было не-прилично. Неприлично же, для батюшки, все, что непривычно. На исповеди я должна быть как все.

Другая же половина такта – жалость. Не знаю почему, но, вопреки их страшности, священники мне всегда казались немножко – дети. Так же, как и дедушки. Как детям (или дедушке) рассказывать – гадости? Или страшности?

Кроме того, как мне было рассказывать о нем, говорить о нем он, когда для меня он был то и ты. Говорить о нем чёрт, когда для меня он был Мышатый: ты, имя настолько сокровенное, что я и одна не произносила его вслух, а только в постели или на поляне, шепотом: «Мышатый!» Звук слова «Мышатый» был сам шепот моей любви к нему. Не-шепотом это слово не существовало. Звательный падеж любви, других падежей не имеющей.

Ведь если я о тебе сейчас пишу он, то ведь это потому что я о тебе пишу, не тебе! В этом вся ложь любовного рассказа. Любовь неизменно второе лицо, растворяющее – даже первое. Он есть объективизация любимого, то, чего нет. Ибо никакого он мы никогда не любим и не любили бы; только ты, – восклицательный вздох!

И – внезапное прозрение – по-настоящему, до дна души исповедоваться – во всем тебе во мне (для ясности: во всем «грехе» твоего присутствия во мне) – во всей мне – я бы могла – только тебе!

…Не тьма – зло, а тьма – ночь. Тьма – все. Тьма – тьма. В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Что это – моя родная тьма!

* * *

Нет, со священниками (да и с академиками!) у меня никогда не вышло. С православными священниками, золотыми и серебряными, холодными как лед распятия – наконец подносимого к губам. Первый такой страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого, кстати, учился Бальмонт) – очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках – в которые я так и не пошла.

– Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу – копошение серебра в ладони, переливание серебра из руки в руку, из руки в бумажку: столько-то батюшке, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то просвирне… Не надо бы – при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям серебряного времени, про тридцать сребреников. Звон серебра сливался со звоном кадила, лед его с льдом парчи и

распятия, облако ладана с облаком внутреннего недомогания, и все это тяжело ползло к потолку белой, с изморозными обоями, залы, на непонятно-жутких повелительных возгласах:

– Благослови, Владыко!

– О-о-о…

Все было – о, и зала – о, и потолок – о, и ладан – о, и кадило – о. И когда уходили священники, ничего от них не оставалось, кроме последнего, в филодендронах, о – ладана.

Эти воскресные службы для меня были – вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».

– Барыня, покойники пришли, – прикажете принять?

Посредине черный гроб,
И гласит протяжно поп:
Буди взят моги-илой!

Вот этот-то черный гроб стоял у меня в детстве за каждым священником, тихо, из-за парчовой спины, глазел и грозил. Где священник – там гроб. Раз священник – так гроб.

Да и теперь, тридцать с лишним лет спустя, за каждым служащим священником я неизменно вижу покойника: за стоящим – лежащего. И – только за православным. Каждая православная служба, кроме единственной – пасхальной, вопящей о воскресении и с высоты разверстых небес отрясающей всякий прах, каждая православная служба для меня – отпевание.

Что бы ни делал священник, мне все кажется, что священник над ним наклоняется, ему кадит, изо всех сил уговаривает и даже – заговаривает: «Лежи, лежи, а я тебе попою…» Или: «Ну, лежи, лежи, чего уж тут…» Заклинает.

Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают. Они, так пышно и много одетые, казались мне не-нашими[41], а не тот, скромно– и серо-голый, даже бедный бы, если бы не осанка, на краю Валериной кровати.

От священников – серебряной горы спины священника – только затем горы, чтобы скрыть, мне и Бог казался страшным: священником, только еще страшней, серебряной горой: Араратом. И три барана детской скороговорки – «На горе Арарат три барана орали» – конечно, орали от страха, оттого, что остались одни с Богом.

Бог для меня был – страх.

Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила. Ничего, кроме тоскливого желания: когда же кончится? и безнадежного сознания: никогда. Это было еще хуже симфонических концертов в Большом зале Консерватории.

* * *

Бог был – чужой, Чёрт – родной. Бог был – холод. Чёрт – жар. И никто из них не был добр. И никто – зол. Только одного я любила, другого – нет: одного знала, а другого – нет. Один меня любил и знал, а другой – нет. Одного мне – тасканьями в церковь, стояньями в церкви, паникадилом, от сна в глазах двоящимся: расходящимся и вновь сходящимся – Ааронами и фараонами – и всей славянской невнятицей, – навязывали, одного меня – заставляли, а другой – сам, и никто не знал.

* * *

Но ангелов я – любила: одного, голубого, на жарко-золотой, прямо – горящей бумаге, прямо – трещавшей от сдерживаемого огня. Жаркой еще и от моих постоянных, всегда вскипавших и так редко перекипавших, обратно – вкипавших, одиноко выкипавших слез на

41 Народное наименование чёрта (примеч. М. Цветаевой).

печном румянце щек. И еще одного, земляничного, тоже немецкого, с раскрашенной картинки к немецкому стихотворению «Der Engel und der Grobian»[42]. (Помню слово: «im rothen Erdbeerguss» – в красном земляничном потоке…)

Один мальчик собирал на полянке землянику. Вдруг видит – перед ним стоит другой мальчик, только большой и весь в белом и с длинными кудрями, как у девочки, а на кудрях – золотой круг. «Здравствуй, мальчик, дай и мне земляники!» – «Вот еще выдумал! – первый, с четверенек и даже не сняв шапки («rückt auch sein Käppiein nicht»[43]), – сам собирай, и вообще убирайся – это моя полянка!» И опять – носом в корм. И вдруг – шум. Так лес не шумит. Подымает глаза: а мальчик уже над полянкой… «Милый ангел! – кричит невежа, срывая с себя колпачок, – вернись! Вернись! Возьми все мои ягоды!» Но – поздно. Вот край его белой одежды уже над березами, вот уже выше – уж и самой высокой березе рукой не достать, самой длинной из своих рук… Обжора, упав лицом в злосчастную землянику – плачет, и плачу с ним – сама земляничная обжора и невежа – я.

Много я с тех пор видала земляничных полянок и ни одной, чтобы за краем непременной березы не увидеть того безвозвратного края одежды, и немало раз, с тех пор, землянику – ела, и ни одной ягоды в рот не клала без сжатия сердца. Даже слово Grobian для меня навсегда осталось ангельским. И никакие Адам и Ева с яблоком и даже со змеем так во мне добра не предрешили, как мальчик – с другим мальчиком, поменьший с побольшим, гадкий – с хорошим,·земляничный – с заоблачным. И если я потом, всю жизнь, стольких «Grobian'»ов – на полянках и в комнатах – видела ангелами, демонами, небожителями, то, может быть, от раз навсегда меня тогда ожегшего страха: небесного не принять за земного.

Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потом нескончаемо-черными, – так поздно – красными! так рано – черными! – мать и Валерия, летом – Окою, осенью большой дорогой, сначала березовой, потом большою, в два голоса – пели. Эти две враждующих природы сходились только в пении, не они сходились – их голоса: негромкое, смущающееся быть большим контральто матери с превышающим собственные возможности Валериным сопрано.

Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen so heiss,
Als wie heimliche Liebe
Von der niemand was weiss…[44]

От этих слов: Feuer – Kohle – heiss – heimlich – (огонь – уголь – жарко – тайно) – у меня по-настоящему начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли – горлом глотаю.

Keine Rose, keine Nelke
Kann blühen so schön,
Als wenn zwei verliebte Seelen
Zu einander thun stehn.[45]

42 «Ангел и грубиян» (*нем.*).

43 И даже шапочки не снял (*нем.*).

44
Ни огонь и ни угли
Не пылают так жарко,
Как любовь, хранимая в тайне.

45
Ни Rosen, ни Nelken
Не смогут помочь
Душе, тоскующей по неведомому морю.

Тут-то меня и сглазили: verliebte Seelen! Ну, что бы – Herzen! И было бы все, как у всех. Но нет, что в младенчестве усвоено – усвоено раз навсегда: verliebte – значит Seelen. А Seelen это ведь See (остзейская «die See» – море!) и еще – sehen (видеть), и еще – sich sehnen (томиться, тосковать), и еще – Sehnen (жилы). Из жил томиться по какому-то морю, которого не видал, – вот душа и вот любовь. И никакие Rosen и Nelken не помогут!

Когда же песня доходила до:
Setze Du mir einen Spiegel
Ins Herze hinein… – [46]

я физически чувствовала входящее мне в грудь Валериино зеленое венецианское зеркало в венце зубчатого хрусталя – с постепенностью зубцов: setze Herze – и бездонным серединным, от плеча до плеча заливающим и занимающим меня зеркальным овалом: Spiegel.

Кого держала мать в своем зеркале? Кого – Валерия? (Одно лето, моих четырех лет, – одного: того, кому в четыре руки – играли и в четыре же руки – вышивали, кому и о ком в два голоса – пели…) Я? – знаю кого.

…Damit Du könnest sehen.
Wie so treu ich es mein, – [47]

пояснительно тянули и дважды повторяли певицы. Пяти лет я не знала meinen (мнить, глагол), но mein – мой – знала, и кто мой – тоже знала, и еще Meyn (Мейн) знала – дедушку Александра Данилыча. От этой включенности в песню дедушка невольно включался в тайну: мне вдруг начинало казаться, что дедушка – тоже.

С уходом Августы Ивановны (это она занесла в дом песню) – то есть с концом младенчества, семилетием, кончился и Чёрт. Зрительно кончился, на Валериной постели – кончился. Но никогда я, до самого моего отъезда из Трехпрудного – замуж, не входила в Валериину комнату без быстрого и косвенного, как тот луч, взгляда на кровать: там?

(Дом давно-о снесен, от кровати и ножек нет, а тот все-е сидит!)

А вот еще одна встреча, так сказать, заскочившая за младенчество: жалко ему было с такой девочкой расставаться!

Мне было девять лет, у меня было воспаление легких, и была Верба.

«Что тебе принести, Муся, с Вербы?» – мать, уже одетая к выходу, в неровном обрамлении – новой гимназической шинелью еще удлиненного Андрюши и – моей прошлогодней, ей – до полу, шубой – еще умаленной Аси. «Чёрта в бутылке!» – вдруг, со стремительностью чёрта из бутылки вылетело из меня. «Чёрта? – удивилась мать, – а не книжку? Там ведь тоже продаются, целые лотки. За десять копеек можно целых пять книжек, про Севастопольскую оборону, например, или Петра Великого. Ты – подумай». – «Нет, все-таки… чёрта…» – совсем тихо, с трудом и стыдом прохрипела я. – «Ну, чёрта – так чёрта». – «И мне чёрта!» – ухватилась моя вечная подражательница Ася. – «Нет, тебе не чёрта!» – тихо и грозно возразила я. «Ма-ама! Она говорит, что мне нечёрта!» – «Ну, конечно – не… – сказала мать. – Во-первых, Муся – раньше сказала, во-вторых, зачем дважды одну и ту же вещь, да еще такую глупость? И он все равно лопнет». – «Но я не хочу книжку про Петра Великого – уже визжала Ася. – Он тоже разорвется!» – «И мне, мама, пожалуйста, не книжку! – заволновался Андрюша, – у меня уже есть про Петра Великого, и про все…» – «Не книжку, мама, да? Мама, а?» – клещом въедалась

46 Вонзи хрусталь зеркала мне в сердце… (*нем.*)

47 …Чтобы ты могла поверить
В верность мою, – (*нем.*).

Ася. – «Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо: не книжку. Мусе – не-книжку, Асе – не-книжку, Андрюше – не-книжку. Все хороши!» – «А тогда мне, мама, что? А мне тогда, мама, что?» – уже дятлом надалбливала Ася, не давая мне услышать ответа. Но мне было все равно – ей что, мне было – то.

– Ну вот тебе, Муся, и твой чёртик. Только сначала сменим компресс.

Укомпрессованная до бездыханности – но дыхания всегда хватит на любовь – лежу с ним на груди. Он, конечно, крохотный, и скорей смешной, и не серый, а черный, и совсем не похож на того, но все-таки – имя – одно? (в делах любви, я это потом проверила, важно сознание и название.)

Сжимаю тридцатидевятиградусной рукой круглый низ бутылки, и скачет! скачет!

– Только не клади его с собой спать. Заснешь и раздавишь. Как только почувствуешь, что засыпаешь – положи возле, на стул.

«Как только почувствуешь, что засыпаешь!» – легко сказать, когда я весь день только и чувствую, что – засыпаю, просто – весь день сплю, сплю, с многими и буйными видениями и громкими радостными воплями: «Мама! Король напился!» – тот самый король над моей кроватью – «Он в темной короне, с густой бородой» – а у меня еще и с кубком в руке – которого я звала Лесной Царь, а который по-настоящему, я потом догадалась, был der König im Thule – gar treu bis an sein Grab – dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher gab. И этот король с кубком – всегда в руке, никогда у рта, этот король, который никогда не пьет – вдруг – напился!

– Какой у тебя даже бред странный! – говорила мать. – Король – напился! Разве это бред девятилетней девочки? Разве короли – напиваются? И кто, вообще, когда при тебе напивался? И что значит – напился? Вот что значит потихоньку читать фельетоны в «Курьере» про всякие пиры и вечеринки! – забывая, что она сама же живописала этого августейшего бражника на полотне и поместила его в первом поле моего утреннего зрения и сознания.

Однажды, застав меня все с тем же чёртом в уже остывающем кулаке, мать сказала: «Почему ты меня никогда не спросишь, почему чёрт – скачет? Ведь это интересно?» – «Да-да-а», – неубежденно протянула я. «Ведь это очень интересно, – внушала мать, – нажимаешь низ трубки и, вдруг – скачет. Почему он скачет»? – «Я не знаю». – «Ну, вот видишь, в тебе – я уже давно вижу – нет ни искры любознательности, тебе совершенно все равно, почему: солнце – всходит, месяц – убывает, чёрт, например – скачет… А?» – «Да», – тихо ответила я. «Значит, ты сама признаешь, что тебе все равно? А все равно – быть не должно. Солнце всходит, потому что земля перевернулась, месяц убавляется, потому что – и так далее, а чёрт в склянке скачет, потому что в склянке – спирт». – «О, мама! – вдруг громко и радостно завыла я. – Чёрт – спирт. Это ведь, мама, рифма?» – «Нет, – совсем уже огорченно сказала мать, – рифма, это чёрт – торт, а спирт… погоди-ка, погоди, на спирт, кажется, нет…» – «А на бутылку? – спросила я с живейшей любознательностью. – Копилка – да? А еще – можно? Потому что у меня еще есть: по затылку, Мурзилка…» – «Мурзилка – нельзя, – сказала мать, – Мурзилка – собственное имя, да еще комическое… Так ты понимаешь, почему чёрт скачет? В бутылке – спирт, когда он в руке нагревается – он расширяется». – «Да, – быстро согласилась я, – а нагревается – расширяется – тоже рифма?» – «Тоже, – ответила мать. – Так скажи мне теперь, почему чёрт скачет?» – «Потому что он расширяется». – «Что?» – «То есть наоборот – нагревается». – «Кто, кто нагревается?» – «Чёрт. – И, видя темнеющее лицо матери: – То есть наоборот – спирт».

Вечером, когда мать пришла прощаться, я, со сдержанным торжеством:

– Мама! А на спирт все-таки есть рифма, только ничего, что по-немецки?

Droben bringt man sie zum Grabe,
Die sich freuten in dem Thal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe,
Dir auch singt man dort einmal[48]

48

Там наверху могилы тех,
Кто бегал по лугам.
Пастушок, мой, пастушок,

«Христос – воскрес, а чёрт взял да и лопнул! – торжествующе сказала Асина няня, Александра Мухина, стоя пасхальным утром над моей кроватью. – Давай, давай осколки!» – «Неправда! – орала я, сжимая в кулаке драгоценные останки и бия ногами в туго натянутый свод одеяла. – Он лопнул совсем не потому, что Христос воскрес, а потому, что я на него легла… Я его просто заспала, как на суде Соломона». – «Вот Бог, значит, и наказал, что с такой нечистью спишь». – «Ты сама нечисть! – орала я, пробившись наконец ногами сквозь одеяло и – ими помогая. – Тебя самое Бог накажет за то, что ты радуешься несчастью ближнего!» – «Уж и несчастье – презрительно фыркнула нянька. – Чёрт лопнул! Когда дядя родной, Федя, помер, небось не плакала, а тут из-за чёрта паршивого, прости Господи!» – «Врешь! врешь! врешь! – орала я, уже встав и, как он, скача. – Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это ты сейчас будешь плакать, когда я в тебя… (и, ничего не найдя вокруг, кроме градусника)… когда я тебя своими руками разорву, чёртовка окаянная!»

«Что-о? – спросила входящая мать. – Это что такое? Что тут за представление?» – «Да ничего, барыня, – с лицемерным смирением сказала няня, – это Мусенька в Светлое Христово Воскресение чёртом ругается, да-а-а…» – «Мама! У меня лопнул чёрт, а она говорит, что это Бог!» – «Что?» – «Что это Бог меня наказал за то, что я его больше любила, чем дядю Федю». – «Какие глупости! – неожиданно повернула мать. – Разве можно сравнивать? Няня, ступай на кухню. Но чёртом ругаться в первый день Пасхи, да и вообще… Ведь сегодня же – Христос воскрес!» – «Да, а она сказала, что он потому и лопнул». – «Глупости! – отрезала мать. – Простое совпадение. Он лопнул потому, что нужно же когда-нибудь лопнуть. Но и ты хороша – связываться с неграмотной женщиной. А еще в приготовительном классе казенной гимназии… Но главное – что ты могла себя поранить. Где он?» Молча, чтобы не заплакать, разжимаю руку. «Но ведь тут ничего нет? – мать, внимательно всматриваясь. – Где же он сам?» Я, давясь от слез: «Не знаю. Я его так и не нашла. Он куда-то совсем выскочил!»

Да, чёрт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту.

* * *

– Вот видишь, – говорила мать, сидя над моими тихими слезами, – никогда не нужно привязываться к такой вещи, которая может лопнуть. А они – все лопаются! Помнишь заповедь:

«Не сотвори себе кумира»?

– Мама, – сказала я, отряхаясь от слез, как собака от воды. – А какая рифма на «кумира»? Тамара?

* * *

Милый серый дог моего детства – Мышатый! Ты не сделал мне зла. Если ты, по Писанию, и «отец лжи», то меня ты научил – правде сущности и прямоте спины. Та прямая линия непреклонности, живущая у меня в хребте, – живая линия твоей дого-бабье-фараоновой посадки.

Ты обогатил мое детство на всю тайну, на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя бы я не знала, что он – есть.

Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою: le divin orgueil[49] – словом и деломего.

Тебе, кроме столького, я еще обязана бесстрашием своего подхода к собакам (да, да, и к самым кровокипящим догам!) и к людям, ибо после тебя – каких еще собак и людей бояться?

Тебе я обязана (так Марк Аврелий начинает свою книгу) своим первым сознанием возвеличенности и избранности, ибо к девочкам из нашего флигеля ты не ходил.

И тебя оплачут там! (*нем.*)

49 Божественной гордыней (*фр.*).

Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди, после которого – все уже было преступлено.

Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной.

Это ты, когда я со взрослыми играла в карты и кто-то, нечаянно и неизменно, загребал мой выигрыш, вгонял мне обратно в глаза – слезы, в глотку – слово: «А ставка была – моя».

Это ты оберег меня от всякой общности – вплоть до газетного сотрудничества, – нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык: «Берегитесь! Кусается!»

И не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, ко всем causes perdues[50] – последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов.

Это ты – на всю свою непреклонность превышая распластанный в сдаче город – последним всходишь на сходни последнего корабля.

Бог не может о тебе низко думать – ты же когда-то был его любимым ангелом! И те, видящие тебя в виде мухи. Мушиным князем, мириадом мух – сами мухи, дальше носу не видящие.

И мух вижу, и нос вижу: твой длинный серый баронский замшевый догов нос, брезгливо и огрызливо наморщенный на мух – мириады мух.

Догом тебя вижу, голубчик, то есть собачьим богом.

* * *

Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога:

Jusqu’à la mort nous Te serons fidèles,
Jusqu’à la mort Tu seras notre Roi,
Sous Ton drapeau, Jésus, Tu nous appelles,
Nous y mourrons en combattant Pour Toi… – [51]

ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место – другому. «Ну, попробуй – кротостью…» Ты никогда не снизошел до борьбы за меня (и за что бы ни было!), ибо все твое богоборчество – бой за одиночество, которое одно и есть власть.

Ты – автор моего жизненного девиза и могильной надписи:

Ne daigne! – [52]

чего? Всего: ничего не daigne – да хотя бы – снизойти до зде-лежащего праха.

И когда мне, на всей моей одиннадцатилетней жизни грехи, из черной дыры чужих глаз и чужой исповедальни было сказано:

Un beau bloc de marbre se trouve enfoncé dans la boue du grand chemin. Un homme vulgaire marche dessus et l’enfonce encore plus profondément. Un noble coeur le dégage, le lave et en fait une statue qui dure éternellement. Soyez le sculpteur de Votre âme, petite Slave…[53]

50 Поверженным (*фр.*).

51
До смерти мы будем Тебе верны,
До смерти Ты будешь нашим царем,
Под знамя Свое Ты нас призываешь,
И борясь за Тебя, Иисус, мы умрем… (*фр.*)

52 Не снисхожу (*фр.*).

53 Прекрасная глыба мрамора лежит, вдавленная в мостовую. Человек заурядный проходит поверху и вдавливает ее еще глубже. Благородное сердце извлекает глыбу из земли, очищает ее и создает изваяние, которое живет вечно.

Чьи это слова?

* * *

Тебе я обязана зачарованным, всюду со мной передвигающимся, из-под ног рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыханием растяжимым, всёвмещающим и всех исключающим кругом своего одиночества.

И если ты когда-то в виде серой собачьей няни снизошел до меня, маленькой девочки, то только затем, чтобы она потом всю жизнь сумела одна: без нянь и без Вань.

* * *

Грозный дог моего детства – Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость – голод, здоровье – болезнь: все то же равнодушие – все виды страсти, все та же сытость – все виды голода, все то же здоровье – все виды болезни, все то же благополучие – все виды беды.

Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца – священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в присутственных местах – не присутствуешь.

Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, – там, где право – тебя нет, там, где много – тебя нет.

Нет тебя и на пресловутых «черных мессах», этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости – любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь – одиночество.

Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.

Тобой, который есть – зло, общество не злоупотребило.

Ване, 19 июня 1935

Жених

Не мой и не Асин: общий. А в общем – ничей, потому что ни одна не захотела. Была еще старшая, но она уже была замужем. Но если бы и не была – тоже бы не захотела. Кто захотел бы? Впрочем, всякая, без чутья. Молодой, если не красивый, то благообразный, именно благообразный (вообще все, что угодно от блага: благоприличный, благоразумный, благонамеренный, все, все, кроме – рудный, этого не было, и из-за этого-то…), как говорится, «умный», «образованный», «культурный», из приличной семьи, с хорошим будущим… В этом будущем-то все дело и было, ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал: охаживал. И как! – кругами, как кот – мясника. Кот, впрочем, был сытый, немножко даже слишком. Рослый и плотный, и, увы, весь какой-то потный, неуловимо, точно каким-то подкожным потом, как бывает подпочвенная вода. Вообще, с водой он был связан целиком. Во-первых, глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места. В детстве такие глаза именуются небесными, позже – честными. Почему у женщин такие глаза именуются русалочьими, а у мужчин – честными? Приводятся как гарантия честности, а принадлежат они, обыкновенно, самым пройдохам. Этими глазами-то они и проходят – в первые ученики, и в зятья, и в директора. «Человек с такими глазами не может…» Нет, человек с такими глазами именно может, и может – все. Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не минуя и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно пересмотреть. Второе ощущение: губы говорят

Будьте ваятелем собственной души, маленькая Славянка… (*фр.*).

одно, а глаза другое: свое и непременно нехорошее. – «А я знаю!» – что? – да какую-то про тебя гадость, такую гадость, которую ты и сам про себя не знаешь. И вот, в смятении, начинаешь искать. Если человек слаб, он непременно найдет. Так или иначе, вы этими глазами побиты заранее. Ибо свойство этих глаз – власть. Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит – внушения. Заставлю признаться! – В чем?! – Да в том, что ты такой же, как я.

(Как если бы вчерашний каторжанин допрашивал бывшего товарища.) Глаза сообщничества, от которого вы тщетно отбиваетесь. Если вы их прочли, вы еще более пропали, чем если вы им поверили. И, странная вещь, именно их, у интеллигенции слывущих «честными», простолюдин неизменно назовет бесстыжими. Слово, которого, кстати, вы никогда не услышите о черных, нет, только о светлых, и из светлых – только о голубых. И о голубых с непременно черными ресницами, которыми правда точно черным по-белому написана, и гласит она: – Берегись! И, чтобы все сказать: честные, как речная вода.

С водой жених еще был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Тарусе была дачка. Как только мы с Асей впервые в нее вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж… – что? Да благостно! Женихов отец с толстым темно-синим сатиновым животом, еле удерживаемым крученым, с кистями, поясом, медовым голосом приглашающий нас «испить чайку с медком», и даже, кажется, «почтить»; женихова мать – с теми же глазами, только разбавленными и расслабленными «бабьей долей», с теми же, но разведенными: все, что было голубого, слила сыну, себе же ополоснула – с каким-то зазыванием страшных снов влекшая нас к столу и варенье есть убеждавшая так, точно в вазочке не крыжовник, а живой жемчуг; сама обстановка, – именно обстановка: то, как вещи человека обставали: стулья – прислоняли, диванчики – засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротивления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растет, дому, «русском стиле» солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, – и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов «эхма» да «ух», разделяемых «сподобил Господь» и «все под Богом ходим», и, теперь я назову главное – почет. Почет, сразу наведший нас с Асей на верный след – Толиных честных глаз.

– И с чего это, – говорили мы, спускаясь и подымаясь, как по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, – добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы… Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться… Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

– Просто выгнать – за один вид.

– А заметила, как одобряли, как на каждое слово хихикали?..

– Особенно отец.

– Особенно мать.

– А Толя сидел и обливался маслом. Ася, клянусь, что он облизывался. Да: на тебя!

– Гадости говоришь. Если облизывался, так уж конечно на тебя, потому что меня ему по крайней мере, по самой крайней мере еще три года ждать. А тебя только год.

Третья его связь с водою была баня. В Тарусе ли, в Москве ли, придешь в званые гости, его сестра Нина, еще с порога:

– А Толи еще нет. (Шепотом на ушко.) Он в бане. Просил вам не говорить, но я уж по дружбе скажу.

И когда после бани, явно-распаренный и недаром распаренным голосом: – «У вас голова Антиноя…» – самое мягкое, что можно было отрезать: – «Не говорите глупости!»

– Настоящий банный мужик, – говорила Ася с негодованием, – хотя я банных мужиков никогда не видела. Ему бы мочалкой купцов скрести, а не писать стихи про нереид. Недаром его отец всегда хвастается, что из простых мещан, а вот стал классным надзирателем. Я, конечно, за равенство, – продолжала третьеклассница, горячась, – но только не в замужестве. Лучше за нелюбимого царя, чем за любимого пономаря. А этот еще и нелюбимый.

Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглавляемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных – бледное русо-бородое и – усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.

– Марина! За вашу тайную мечту! Ася, – за нашу!

– Что-о-о?!

– Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar![54]

– Хороший молодой человек, – резюмировала немка после каждого его посещения. – Тихий, почтительный, с хороший манер. Только, schade[55], что у него такое Käsegesicht[56]. Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.

Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.

– Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)… поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать. Потому что душа у них самая змеиная.

Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом – крестьянских мальчишек и девчонок, зимой – мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: – «Марина, у вас глаза совсем как у дриады…» – я, по совершенно чистосердечной ассоциации: – «А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low'a?» Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я назвала не случайно, ибо жених был ими – дриадами, наядами, русалками и весталками – начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалений гр. Валевской, приехавшей к нему на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, «впрок» – на случай, если Ася, действительно, не… А Ася – люблю девическое тринадцатилетие! – действительно не – и ни за что.

– Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?

– Для вас – никогда.

– Наконец, прозреете?

– На вас – никогда.

– Как вы еще молоды! Слишком молоды!

– Для вас – навсегда.

В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом полнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: «Трансваль, Трансваль, страна моя»… В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.

– А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.

– У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)

– Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову пашб. – И т. д., и т. д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая – милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.

– Если бы вы еще походили на Анатоля из «Войны и мира», – задумчиво говорила она, глядя на него то с правого бока, то с левого, – но так как вы похожи на Левина, и даже не на Левина, а…

– Вам слишком рано дают читать серьезные книги… – перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.

54 Ради Бога, дитя мое, не кричи так ужасно! (*нем.*)

55 Жаль (*нем.*).

56 Здесь: «непропеченное» лицо (*нем.*).

– А такая книга, как вы, – не рано? Такие книги лучше не читать никогда.

* * *

– Папа, как тебе нравится Анатолий?

– Наш новый дворник?

– Нет, папа! Наш дворник – Антон, а это – студент, Тихонравов.

– А-а-а… Он, как будто, не особенно далекий? – (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах…

И эта аттестация – в ответ на «petits soins»[57], которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное – складу, и в голову не могло прийти.

Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошло-летние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка – жирная раздавленная гусеница.

– Дурак, – сказала Ася холодно.

– Автопортрет, – уточнила я.

Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».

– Наглец. Он пишет, точно я уже в таком положении! И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».

– Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит! Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя чёрта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.

* * *

Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.

– Марина, пойду служить в Музей.

– С ума сошла! Там теперь Анатолий – директором.

– Анатолий – директором?! И даже не женясь на нас? Ну и счастливец!

– Не только не женясь на нас, но женясь на самой обыкновенной, как надо, барышне.

– Как надо – барышне? Нынче же иду в Музей!

Возврат и рассказ:

– Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. – «Вы давно приехали?» – «Вчера». – «Что вам угодно?» – «Место в Музее». – «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте». – «Подумаю, но – если что-нибудь и найдется, то не…» – «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая – куда нам даже тогда! – по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.

Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование… но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все-таки посидел.

57 Здесь: подобострастие (*фр.*)

Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг – заграничные, метод писания – собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот – каким?

Сентябрь 1933

Страховка жизни

Сидели, мирно ужинали, – а может, и обедали, дело слов, ибо салат все тот же, – итак, сливая русский ужин с французским обедом в римском салате, – ели: отец, мать и сын.

– Мама, а какие французы обильные, – вдруг сказал мальчик.

– Это не французы обильные, это русские обильные! – горячо сказала мать. – И вообще, так скорей принято говорить о странах.

– По-о-чему? – изумился мальчик. – Как страна может быть обильной? У нее же нет рук.

В эту секунду раздался стук в дверь, и мать, не успев распознать очередного сыновнего словесного метиса (habil'ный[58]), пошла открывать. На пороге, в полной тьме площадки, стоял кто-то очень высокий, с шляпой в руке.

– Извините, сударыня, – сказал он молодым голосом, – я – инспектор…

Мать, отступив, тем – впустила. Молодой человек по ее пятам шагнул в кухню, где и стал – между обеденным столом, посудным столом, газом, плитой, раковиной и стульями обедающих – вроде как бы на единственной сухой от прилива и твердой между пропастями пяди: одной ногой, перекинув через нее вторую, левую.

– Да? – не подымая глаз, спросила бровями мать, уже усевшись за салат.

– Простите, что я нарушаю ваш обед, но я инспектор и…

(«Налог! – мысленно произнесла она. – А ведь недавно вносили, или, может, опять вспомнили похищенного генерала и стали переписывать всех русских?»)

– Вот моя карточка, – продолжал молодой человек, поднося к ее глазам и тут же от них отымая (так детям на секунду показывают завтрашний «сюрприз» – распахнутую книжку с какой-то фотографией, может быть, действительно похожей, если бы она успела рассмотреть, во-первых, ее, во-вторых, подающего).

«Но почему же он не говорит Sûreté[59] и не показывает знака? – подумала она, мысленно проделывая за него жест, открывающий знак. – И за что же нас арестовывать, наконец?»

– Assurance[60], – точно в подтверждение прозвучал над ней его голос.

Услышав наконец роковое (ибо принятое за Sûreté) слово, она перестала есть и стала ждать.

– Я иду в Нюельмон, – продолжал сверху голос, – и осматриваю квартиры с точки зрения пожара.

(«Господи! – пронеслось у нее в голове. – А у меня плохой электрический шнур, весь в узлах и с постоянными взрывами! И что такое Нюельмон?»)

– Вы, кажется, не понимаете по-французски, – осведомился он, этим доводя до сознания присутствующих, что они с самой секунды его входа, в ответ на все его речи, не только не произнесли ни одного слова, но даже слога, так что он законно мог бы спросить: «Вы, кажется, лишены дара речи?»

– О нет! – воскликнула мать, задетая за живое, и от этого, действительно, оживая. – Мы отлично понимаем. Но, простите, что вам от нас нужно?

– Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? – продолжал голос с усмешкой. – Я же вам сказал: я прохожу в Нюельмон.

«Безработный! – подумала она. – Очевидно, идет к себе в Нюельмон и по дороге

58 Habile (*фр.*) – ловкий, умелый.

59 Полиция (*фр.*).

60 Страхование (*фр.*).

осматривает печи. Нужно дать». И, вскинув наконец глаза:

– Мы не очень богаты, – робко сказала она, – и печи у нас вычищены, но мы все-таки… – и тут же осеклась, потому что поняла, что видит над собой молодое, красивое, румяное, чисто выбритое и чисто вымытое, вовсе не безработное, а еще менее – печниково – лицо, под которым, по обратному пути глаз в тарелку, удостоверила и новый вишневый галстук, и чистый серый костюм.

– Так это именно для бедных! – оживился нюельмонец. – Богатым – что! Хоть вся их семья перемрет, – их жизнь от этого не нарушится. Это именно для неимущих, живущих трудом своих рук.

– Но что такое «это»? – приободрясь, спросила она.

– Страховка жизни, – разве я вам этого не сказал? – И, с новыми силами: – Я прохожу в Нюельмон (и вдруг она поняла, что никакого Нюельмона нет, что есть annuellement[61], последний слог которого он произносит «мон»), – и больше всего стараюсь заинтересовать своим предложением именно малоимущих, живущих трудами рук своих.

(Переводя глаза на тонкие, с длинными пальцами, руки мужа:)

– Ваш муж – художник?

– Нет, – выдавил муж.

– Нет? – удостоверился он у жены.

– Нет, – подтвердила жена.

– Любопытно, – задумался он, – я был уверен, что он художник. Я, вообще, буду говорить с вами, потому что ваш супруг имеет вид не понимающего по-французски. Итак, это именно важно для живущих трудом своих рук. Представьте себе, Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа, – развязно, точно говоря не о здесь присутствующем, явно живущем и жующем муже, а о каком-то аллегорическом лице, которого та никогда и в глаза не видала и потерять которого, посему, никак не может. – И останетесь одна, с тремя малолетними детьми, младшим – грудным.

– У меня нет грудных детей, – ответила она, – мальчику, которого вы видите, девять лет.

– Но у других есть, вы же не можете сказать, что у других их нет, – ласково (так урезонивают успешного, но завравшегося ученика на экзамене) поправил инспектор. – Я знал одну женщину, у нее было шестеро малолетних, и когда ее муж упал со стройки…

– Ох! – вскрикнула она, содрогаясь от этого ужасного видения. – Какой ужас! С высока упал?

– Да, с седьмого, – подтвердил инспектор, утверждаясь на второй ноге, – и я сам выдал ей премию. Вы думаете – она не была рада?

– Какой ужас! – вторично и совсем по-другому воскликнула слушательница. – Какой ужас – радость таким деньгам!

– Но у нее были дети, – наставительно продолжал инспектор, – шестеро малолетних детей, и она не смерти их отца радовалась, а их благополучию. И если бы вы, Madame, имели несчастье лишиться своего мужа…

– Слушайте! – воскликнула она. – Вы уже второй раз говорите мне о смерти моего мужа. Это противно. У нас так не делают, при живом. Мы – иностранцы, я даже вам скажу, что мы – русские, и (уже на ходу, переходя в другую комнату за папиросами) русские своими ушами таких вещей слышать не могут, русские могут слышать только про свою смерть. Да!

– Madame, – звучал уже из коридора голос молодого человека, – вы меня не так поняли, я вовсе не хотел сказать, что вы непременно потеряете своего мужа, я только хотел сказать, что это с вами, как со всякой, может случиться.

– Теперь вы это говорите в третий раз! – взорвалась молодая женщина, уже куря и идя прямо на него и этим водворяя его в кухню. – И я этого больше слышать не хочу. Если это – страховка жизни, объявляю вам, что я чужих жизней не страхую.

– Но если Monsieur сам бы застраховал свою?

– Ни чужих, ни своих, это у нас не в крови, а кроме того, у нас нет денег, мы должны

61 Вероятно, страховщик говорит: «Je passe annuellement» – «Я ежегодно делаю обход»

переезжать на другую квартиру, и…

– Но мое предложение как раз и рассчитано на лиц, переезжающих на другую квартиру. Во время квартирного переезда тоже могут быть несчастные случаи: стоявший шкаф, например, – шкаф, стоявший двадцать лет, – зеркальный шкаф, вы меня понимаете? – внезапно падает, и…

(«Какой ужас! – и она даже закрыла глаза. – Именно наш шкаф, данный нам именно за нестойкость…»)

– Мы не боимся падающих шкафов, – твердо сказала она, – мы, конечно, все делаем, чтобы шкаф не упал, но когда шкаф – падает, это – судьба, понимаете? Так вам ответит каждый русский.

– Русские всегда говорят «нет», – задумчиво сказал молодой человек, покачиваясь в коленях, – в Медоне (я живу в Медоне) есть целый русский дом, который не говорит по-французски. Стучишь в дверь, выходит господин или дама и говорит: «Niet». Тогда я сразу ухожу, потому что знаю, что меня не поймут. Да, не часто меня понимают так, как вы, Madame. И, чтобы возвратиться к страховке…

– Лучше не возвращайтесь! – горячо и сердечно воскликнула она. – У нас все резоны не страховаться: во-первых, мы совершенно бедны и, все равно, не будем платить, предупреждаю вас, как честный человек, – вы будете ходить и ничего не будете получать, вы будете писать, и мы никогда не будем отвечать, – во-вторых, а для нас во-первых, – это нам, моему мужу и мне, претит одна мысль о деньгах за смерть кого-нибудь из нас.

– Monsieur думает – как вы? – спросил инспектор. – Он как будто не понимает по-французски.

– Он отлично понимает и думает совершенно как я. (И, чтобы как-нибудь загладить, рассеять:) Может, – когда мой сын вырастет и женится… Но мы – другого поколения, лирического поколения… (И, видя, что на этот раз он не понимает:) Мы – «сантиментальные», «суеверные», «фаталисты», вы, наверное, уже об этом слышали? Про âme slave[62]?

– Да, я даже такой фильм видел с матерью. Старый русский генерал dans un bonnet d'astrakhan[63] венчается в огромном храме и, заметив, что его молодая жена любит бедного офицера, тут же один уезжает в Сибирь, бросая ему из саней свой кошелек. Моя мать даже плакала… (И, после долгого раздумья:) Ваши чувства делают вам честь, и будем надеяться, что ваш сын будет вас радовать. У него всегда такой аппетит?

(«Нужно предложить сесть, – в который раз мелькнуло у нее в голове, – ведь сейчас это – гость, но куда поставить стул? Или уж – папиросу…»)

– Я пятнадцатый сын, – задумчиво и совершенно уже другим, сновиденным каким-то голосом продолжал инспектор, – а после меня было еще двое. Мне двадцать шесть лет, а моей матери пятьдесят два года. У нее было семнадцать человек детей, и два воспаления легких, и ей два раза взрезали живот, и даже три, потому что второй раз забыли в нем простыню… А выглядит она моей сестрой, и она так же стройна, как вы. Мы иногда с ней смеемся и шутим.

– Как хорошо – семнадцать! – с неубежденным жаром воскликнула собеседница. – Все живы?

– Нет, только я жив; последний брат – ему было тридцать четыре года – в прошлом году разбился в автомобиле о дерево.

– А… другие? – робко спросила она.

– Другие? Все от несчастных случаев. Тонули, падали, иные – сгорали живьем (il y en a qui sont brûlés vifs).

(«Жанна д'Арк», – еле слышно произнес мальчик.)

– …И вы понимаете, что я не могу жениться? Что я это сделаю возможно позже, возможно позже… Мать – просто не сможет… О, нас очень сурово воспитывали, и, если бы я сейчас осмелился возразить отцу, я бы, конечно, получил пощечину, и я бы ее принял. Моему отцу шестьдесят два года, и он весит сто пять кило.

62 Славянскую душу (*фр.*).

63 В папахе (*фр.*).

– Но ваши родители, наверное, не парижане?

– Нет, парижане, то есть мать – парижанка, а отец – нормандец. Посмотрите на меня, я ведь не так уж мал (он все время высился над ней, как башня), а я еще из всех нас – самый неудачный. Другие были – великаны! Но так как уцелел именно я, я и не должен жениться, ни жениться, ни погибнуть от несчастного случая, ибо если бы я ушел, – ушли бы трое… А мать вашего роста и вашего сложения, но у таких матерей и бывают такие сыновья. О, вы не знаете мою мать, она каждый раз, как поздно бы я ни вернулся со службы, – несчастные случаи, ведь, во все часы! – в десять часов, в одиннадцать часов, в двенадцать часов, в один час, – встает и греет мне обед. Вот сегодня она выйдет мне навстречу в Issy-les-Moulineaux. Разве я могу жениться? Мне двадцать шесть лет, и я ни разу, понимаете, ни разу, не пошел без нее в синема и не проехался на пароходике. On prend tous ses plaisirs ensemble[64]. Разве я могу жениться?

– Вы – чудный сын! – от всей души воскликнула она, невольно переводя глаза на своего и точно спрашивая. – Дай Бог здоровья вам, и вашей матери, и вашему отцу!

– Да, здоровье мне необходимо, мне уходить – нельзя. Будем надеяться, что и ваш сын будет вас радовать. Чем ты хочешь быть, мальчик?

– Service militaire[65], а потом авиатором.

– Нет, авиатором быть нельзя, – твоей матери слишком часто пришлось бы смотреть в небо, а несчастных случаев достаточно и на земле. Вот военная служба – другое дело. Хорошая пора, лучшая пора, таким счастливым ты потом уже никогда не будешь… Итак, Madame, желаю вам счастья в вашем сыне. И простите, если я чем-нибудь задел ваши чувства… Вы любите своего мужа, у вас очаг, вам страховка так же не поможет, как и мне, я теперь вас понял…

И, нажав, на этот раз, ручку двери, на которую столько раз уже, беспоследственно, клал руку, с глубоким поклоном:

– Благодарствуйте и простите.

– Вы с ума сошли! – взорвался муж, зверем выскакивая из-за стола. – Я из-за вас всюду опоздал!

– Почему же вы не вышли? – спросила она, сама сознавая лицемерие вопроса.

– Почему? Да потому, что вы с ним загородили дверь, я как в западне сидел.

– А я нечаянно съел весь помидор, простите, мама, я так заслушался, что съел и вашу часть. – И, приставляя к губам носик чайника: – Ох, пить хочу! Вы знаете, он так говорил, что у меня в горле пересохло…

Стук в дверь.

– Простите, Madame, я только еще хотел вам сказать, что сегодня иду с матерью в кинематограф…

Проводив мужа, то есть получив в руку, вместо руки, ручку захлопнувшейся за ним двери, и уложив сына, пошедшего в постель, как камень ко дну, и только тогда, да и то не сразу, придя в себя, – во всем этом была напряженность сна, и сердце ее билось совершенно как у того, летевшего со стройки, – она встала к столу и на обороте первого попавшегося конверта высчитала, что пятнадцатым он, двадцатишестилетний, у пятидесятидвухлетней матери мог быть только при условии, что она вышла замуж пятнадцати лет и рожала своих семнадцать человек сыновей одного за другим, без единого дня перерыва. Бывает… С трудом, но – возможно… И уже гораздо возможнее, если три раза, например, близнецы (которые, конечно, и погибали парами: двое сразу утонуло, двое сразу упало, двое сразу сгорело, – тогда и смертей меньше)… Но, все-таки, чтобы все, все семнадцать минус один он, погибли от несчастных, таких разнообразных, всех имеющихся налицо случаев… Учитывая при этом одновременную развязность и официальность тона, которым он это сообщил, точно говоря наизусть прейскурант… И сравнивая этот голос с тем, которым он говорил о матери, той, что выйдет к нему навстречу в Issy-les-Moulineaux.

Что это, вообще, было? Она не знала. Но даже, если в приливе странного вдохновения, тут же все это выдумал, – разве не умилителен этот миф о себе, семнадцати-сыновней матери

64 Мы всегда развлекаемся вместе (*фр.*).

65 Здесь: отслужу в армии (*фр.*).

последнем уцелевшем, безумно преданном сыне? Разве это не мечта о себе – лучшем, себе – настоящем? Не вопль настоящей profession manquée![66] Не вся потенция сыновности?

Двадцати шести лет, будучи высоким, красивым, на собственный взгляд, да и на всей парижской улицы взгляд, – неотразимым, рассказывать чужой, не старой еще, женщине, – да и вовсе молодой во тьме коридора! – что до сих пор получает от отца пощечины и охотно их принимает. Разве это мечта современного молодого человека? И даже – старинного молодого человека?

Может быть, – думала она дальше, – не ручаюсь… Может быть, и семнадцати человек детей никаких не было, может быть, раз их не было, и семнадцати смертей не было, может быть, и нормандского отца, дающего пощечины – каждая в сто пять кило весом! – не было, может быть, – и, кажется, верней всего, и в этом, кажется, всё, – отца вовсе не было.

Но мать – была.

Июнь 1934

Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Jane Eyre («Джен Эйр» – роман английской писательницы XIX века Шарлотты Бронте.) – Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом «животе» поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась «сестра». Больше скажу – в слове «живот» для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I-ый – всегда найдется.

– Нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, – смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: – Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! Отшвырнул пистолет, протянул руку, этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок – если не мести – так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина – «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернь». Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили,

66 Неосуществленной мечты (*фр.*).

ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность – я поделила мир на поэта – и всех, и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались…

Но до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминанья есть свое до-воспоминание, предок – воспоминание, пращур – воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая всегда оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и отвсегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая.

Там верстою небывалой
Он торчал передо мной…

(«Бесы»).
Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. – М. Ц.

Ни огня, ни черной хаты…
Глушь и снег…
Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…

(«Зимняя дорога»).

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было), ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала – к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карльсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и добежав обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватостъ – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку – они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос – знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, – приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! – и так как «черный» был явлен гигантом, а «белый» – комической фигуркой, и так как непременно – нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь»… с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто м_е_н_я, тогда – м_о_ж_е_т, потому что я ведь еще вырасту»… И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду – я?» И ответ: «Нет, не потому что я большая, а потому что я живая, а они фарфоровые».

Так что памятник Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом – и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памятник-Пушкина – для меня. Но что же тогда для фигурки – Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья – внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом. Или – гром. А она для него – такая уж маленькая, что он ее тоже – просто не видит. Он думает: просто блоха. А меня – видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

…Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной и снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, «от него» – спиной и «к нему» – спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо).

Памятник Пушкина я любила за черноту – обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина – совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин – негр, я бы знала, что Пушкин – негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность

всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным – рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина – черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всея России.

…Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот – всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

– На Патриаршие пруды или…?

– К Памятник-Пушкину!

На Патриарших прудах – патриархов не было.

Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта – среди белых детей. Чудная мысль белых детей на чернее родство – обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события – памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть «факт», опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень – цепь, камень – цепь, камень – цепь, все вместе – круг. Круг Николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний, Пушкин, ты – мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась – не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. – «Ампир»? – Ампир. – Empire – Николая I-го Империя,

Но с цепями и с камнями – чудный памятник. Памятник свободе

– неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем _народу я любезен_.
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что _прелестью живой стихов я был полезен_…[67]

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию – подмена, позорившая Жуковского и Николая 1-го без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года – установки памятника – наконец, заменена словами пушкинского памятника:

И долго буду тем _любезен я народу_,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой _жестокий век восславил я свободу_
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая – безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище – в слове:

А там, в полях необозримых
Служа _небесному_ царю –
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит – либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: – Муся! Ты видела этого господина? – Да. – Так это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?

Бремя шло. Господин не выходил. Я сидела, и не шумела, и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг – пройдет.

Прошел он – и именно вдруг – но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди – звезда.

– Ну, Муся, видела сына Пушкина? – Видела. – Ну, какой же он? – У него на груди – звезда. – Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то…

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала – няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай

67 Здесь и далее выделено М. Цветаевой. – *Ред.*

с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

– Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина. – Что, барышня? – У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала. – Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли… – неопределенно отозвался Ваня. – Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, – вмешалась няня. – Небось, сами – полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь? – Знаю. – Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, на двое расчесана. Ваше высокопревосходительство.

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить – связанного у меня только с предметами – белый медведь в Пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский, и т. д. – а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которого мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

А шел, верней ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая, – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А. С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманный, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин – Цыганы. Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик. Я стариков знала только одного – сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла – потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн – не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово – любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала – у всех так, всегда – так. Оказывается – только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена – в Цыган: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об

этом ни словом: взрослым – потому что краденое, детям – потому что я их презираю, а главное – потому что тайна: моя – с красной комнатой, моя – с синим томом, моя – с грудной ямкой.

Но, в конце концов, любить и не говорить – разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух – в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы – швеи, приходившей к ней, Когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася – спала.

– А у нас Мусенька – умница, грамотная, – говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. – А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того барабанщика.

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

– Я могу рассказать про Цыган.

– Цы-ган? – нянька, недоверчиво, – про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребущие?

– Это не такие. Это – другие. Это – табор.

– Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит – молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоем талане…», а старая чертовка – белье с веревки, али уж прямо – бриллиантовую брошь с барынина туалета…

– Не такие цыгане. Это – другие цыгане.

– Ну, пущай, пущай расскажет! – приятельница, чуя в моем голосе слезы, – может, и вправду другие какие… Пущай расскажет, а мы – послушаем.

– Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумною толпой – По Бессарабии кочуют – Они сегодня над рекой – В шатрах изодранных ночуют – Как вольность, весел их ночлег – и так далее – без передышки и без серединных запятых – до: звон походной наковальни, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть просто – принимаю.

– А складно говорит! как по писаному! – восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька – Асина.

– Мед-ве-сдь… – осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. – А вправду – медведь. Маленькая была, старики рассказывали – завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

– Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (швея).

– И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

– Ка-ак?

– Алэко!

– Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как говоришь, зовут?

– Алэко.

– Ну и Алека – калека!

– А ты – дура. Не Алека, а Алэко!

– Я и говорю: Алека.

– Это ты говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

– Ну, ладно: Алека – так Алека.

– Алеша, – значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). – Да дай ей, дура, сказать, – _она_ ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

– Ну, эту дочь звали Земфира (грозно и громко): Земфира – эта дочь говорит старику, что Алэко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

«Его в пустыне я нашла
И в табор на-ночь зазвала».

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге: «В одной телеге мы поедем – та-та-та-та, та-та-та-та – И села обходить с медведем»…

– С медве-едем, – нянька, эхом.

– И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах…

– Кто это – в корзинах?..

– Так: «Ослы в перекидных корзинах – Детей играющих несут – Мужья и братья жены девы – И стар и млад вослед идут – Крик, шум, цыганские припевы – Медведя рев его цепей».

Нянька: – Да уж будет про медведя! Со стариком-то – что?

– Со стариком – ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта, тоже, Земфира – ушла. Сначала все пела: – Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя! – это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алэко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе, в голос: – Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то – что?

– Старик – ничего, старик сказал: – Оставь нас, гордый человек! и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алэко один остался.

Обе, в голос: – Так ему и надо. Не побивши – убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, – да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) – застал с полюбовником. И его в раз, и се. Потом на каторгу пошел. Васильем звали. Да-а-а… Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

Пушкин меня заразил любовью. Словом – любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут – и вещь, которую _так_ зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся – это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется – это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу – это любовь. То есть _это_ – от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы.

А вот волк и ягненок – не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно. – Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил… – Но волк – _тоже_ хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он _съел_ ягненка, а ягненка я любить – хотя и съеденного и белого – не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

Сказав волк, я назвала Вожатого. Назвав вожатого – я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего – любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно {Цветаева написала очерк «Пушкин и Пугачев» (см. «Вопросы литературы» э 8, 1965.).}, потому что Вожатый заведет нас далеко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножиков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был – главная тайна. Больше Цыган, потому что он был – черней цыган, _темней_ цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил – Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил… Вожатый.

Под влиянием непрерывного воровского чтения естественно обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестника парижская?

– Парижская.

– Почему?

– Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе: – Что-о-о?

– Я, – спохватываясь: – Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе: – То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и может быть вознегодовала правильно. Но поняла – неправильно. Не глаза – страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом Париж, и делом сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала – глазам. Не я одна. Все поэты. (А потом стреляются – что кукла не страстная!) Все поэты, и Пушкин – первый.

Немножко позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а _она_ встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы _не_ любовь, что _это_ – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не Русалка, где мельница, и князь, и леший? Не Ротнода?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе: – Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу). – Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: – Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли Русалку, потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, Татьяна и Онегин? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами: – Потому что – любовь).

– Она, наверное, уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова {Сестра Валерия Брюсова. – М. Ц.}, наша лучшая и старшая ученица. – И тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь…

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном, – мать ругается: – Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шести лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они _не_ сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда – когда расставались. Никогда не любила –

когда садились, всегда – когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он _не_ любил (это я поняла), потому и не сел, любила _она_, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что _он_ стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена, предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на _не-любовь_ – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – так, и только для того _его_, а не другого в любовь выбрала, что втайне _знала_, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но _знала_ уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой – любви – прямо _гений_ на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

У кого из народов – такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая!

Ведь в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отметить и свести его с ума, все козыри – чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: Я вас люблю (к чему лукавить?)

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать – к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны – внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда – непонадобившаяся, сейчас – вожделенная, и тогда и ныне – любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она – не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д, Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала, отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной Тани все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить – _того_, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива…» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не _его_ дочь)!

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня.

Ибо женщины _так_ читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала – должно быть, все-таки, –

пожалела де-вочку…

С младенчества по сейчас, весь Евгений Онегин для меня сводится к трем сценам: той свечи, той скамьи, того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и, может быть, не прочти я его до семи лет… но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркеты (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века»). Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дареный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, прирученный, Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу…

Книжку я не любила, это был другой Пушкин, в нем и Цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной…

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку _проверить_ – и меньше всего шестилетней тогдашней – мне. Раз сказано, так – _так_. В _стихах_ – так. Эта птичка – поэтическая вольность…

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне – любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозится уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» – это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» – это дворник, а дровни – это дрова, а мать – наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли – только им проходили – потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки – были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя» под видом стихов были басня, которые, под видом стихов – проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала – последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были – идиллия, т. е. та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ Пушкине, он для любви был слишком худ, – ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-тесному фартуку, – ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю – еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: – А длинная? – Нет, маленькая повесть. Ну, тогда я читать _не_ буду.

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и – «Ты опять не спишь?» – Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была – только любовь. Мать не отнимала: раз

хрестоматия – ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: – А я почем знаю?)

…Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея и так как злодей – здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось – три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей – один и кто именно. Гетман для меня по сей день – Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей – по сей день Гетман, и т. д., и три стало одно, а это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы – не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю – возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною – точно чтобы его лучше видели! – а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь – донос, – _донос_ на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была – злодейство.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андрюше: – Ну, Андрюша, кто же был – он? И опять Андрюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: – А я почем знаю? (Что за странный мир – стихи, где _взрослые_ спрашивают, а _дети_ отвечают!) – Ну, а ты, Муся? Кто же был – _он?_ – Великан. – Почему великан? – Потому что он сразу все починил. – А что значит «И на счастие Петрово»? – Не знаю. – Ну, что значит Петрово? (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) Ты не знаешь, что такое Петрово? – Нет. – А Андрюшино – знаешь? – Да. Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшины салазки… – Довольно, довольно. Ну и _Петрово_ – то же самое. Петрово – понимаешь? Счастье – понимаешь? (Молчу.) _Счастья_ не понимаешь? – Понимаю. Счастье – это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати… – Достаточно. На счастие Петрово значит на Петрово счастье. А кто этот Петр? – Это – Кто он? – Что? – То есть чудесный гость. «Смотрит долго в ту сторонку, Где чудесный гость исчез…» А как этого чудесного гостя зовут? – Я, робко: – Может быть, Петр? – Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров – много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе.) Это был тот самый Петр, который…

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея. Поняла?

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную, казачье-скачущую, шапочно-доносную нощь и, что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский – в новый месяц! – вопросительный знак: Кто? Когда Петр – то всегда: кто? Петр – это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: – Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают – не то, все, что подсказывают, – не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина.
Чернобровая жена?

Родила я не понимала, понимала только родилась, ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай-Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах – есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких отчего и стольких явно-ложных, подсказок, наконец, блаженное оттого! «Оттого-то шум и клики – в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: – Отчего пальба и крики? – Кто он? – Кто при звездах и при луне? – Черногорцы, что такое? и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей – тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это – нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и, ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела – строка за строкой, как умела, по-своему, стихи – видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах – прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое _отчего_ требует и сулит _оттого_ и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в Утопленнике – ни одного вопроса. Зато – сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть _мы_ играем одни на реке, во-вторых, _мы_ противно зовем отца: тятя! а, в-третьих, – мы не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца!» – «Врите, врите, бесенята, заворчал на них отец. Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец, был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут ужо. Я говорю: немножко – уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности особенно громко выкрикивала, произнося так: – Будет вам! Ужо-мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи – и мертвецы, а этого мертвеца зовут Ужо, потому что он немножко ужиный, ужевый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр заживались в Тарусе, на своей одинокой – в двух верстах от всякого жилья – даче, в единственном соседстве (нам – минуту сбежать, _тем_ – минуту взойти) реки – Оки («Рыбы мало ли в реке!») – но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки – опять затянуло под плот – но часто и пьяные, а часто и трезвые, – и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день, и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех, потому что дедушка любил меня больше Аси – и глупость – потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака… – от рака? но ведь:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились!

…словом, сквозь стеклянную дверь столовой – привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой по пятам:

Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот –

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи «Вурдалак» были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки – своим потом и от страху бледностью – возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) страсти страха. «Это верно кости гложет красногубый вурдалак». Кто, вообще, гложет кости? Собака. Вурдалак – собака, с красными губами. Черная (потому что – ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только в последней строке, т. е. ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово вурдалак, т. е. название стихотворения…

Ну, странная подозрительная собака, а Ваня – явный бессомнительный дурак – и бедняк – и трус. И еще – злой: «Вы представьте Вани злость!» И – представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что – злой. Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака – действие этим соседством предуказано.

И кончалось, как всегда со всем любимым, – слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у…

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были – «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи – Невидимкою луна…».

Все страшно – с самого начала: луны не видно, а она – есть, луна-невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и – о сладкое обмирание – _ими!_ Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом _ты_ – летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, – той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним – Бесов, и над Пушкиным и Бесами – сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было – меня не было. Но какая иная жалость, нежели к Вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела – утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью – защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же – жалостью высокой, жалостью – восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гете в Веймаре. Я знала, что «домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» – только так, что никого они не похорони, не выдай замуж – все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят, а девушку замуж выдают – чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, а потому что они – они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: потому что бог их проклял!) Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они – тучи! Что они – серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими – можно только мчаться! Что это воздух, который воет! Что их – нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна…» – опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны… туманы…). «На печальные поляны льет печальный свет она…» О, господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как всегда припечатано – печалью, точно Пушкин этим

повторением печаль луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые – опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть той самой, по которой плачут бесы, этому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи-очи голубые» – не Пушкин, а песня, а может быть романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где все – еще все, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мне» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь – одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. _Вошли в состав_.

«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» – как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на _мою_ няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой голубиный вор. (Моя няня была бы – _голубка_, а Асина – Мухина).

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать (– А не думаешь ли, голубка? – А не полагаешь ли, голубка? – А Бог с ними, _голубка!_) – кроме как _голубка_ не называл никак, но _подруга_ было новое, мы с Асей росли одиноко и подруг у нас не было. Слово подруга – самое любовное из всех – впервые прозвучало мне обращенное к старухе. – «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – горбка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка – и заболит.

Кого я жалела? _Не_ няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки, няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он – что? А он – где? «Одна в глуши лесов сосновых – давно, давно ты ждешь меня». Она – _одна_, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачевской ивовой долиной, которую мать называла Шотландией, – к Оке, вдруг – целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия – целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном свози светлицы»… – у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, тогда ждем дедушкиного экипажа) – чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не ждет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении место было «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела… Соответствующих часовых видений – множество. Сидит няня и горюет, а над ней – часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо – так горюет, что даже часы остановились. _На часах_ было и под часами, и на часы, – дети к падежам нетребовательны. Некая же, все же, смутность этого _на часах_ открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем – лунные, и есть в материнской спальне кукушка с домиком, – с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая… А няня ведь с первой строки – голубка…

Так, на часах было и под часами, и на часы и, в конце концов, немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно – спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое

хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии очевидно усумнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я кроме своей тоски из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но – запомнила. И – запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами – секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому – приращен. Да, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была _не_ женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину – потому-то родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – Марселя Пруста {Марсель Пруст (1871–1922) – французский писатель.}. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до – семилетней и семилетней были – ряд загадочных картинок, – загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала – я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто – видела. Но к счастью мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами – Смотрит лагерь их и наш – На холме пред казаками – Вьется красный делибаш». Делибаш – бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются – казак с бесом. Каково же было мое изумление – и огорчение, когда в Праге, в 1924 г. сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего, услышала, что делибаш – черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). – Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш!» Как же _черкес_ может _виться?_ Знамя – вьется! – Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой. – Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя. – Я всегда понимала «Делибаш уже на пике, а казак без головы» – что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось. – Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! «Делибаш уже на пике» значит – знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен. – Ну так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как _знамя_ может быть на _пике??_ Мне по-моему больше нравилось. – Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал.

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш – знамя. А я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения – выдумала, и вдруг – в 1936 г. – сейчас вот – глазами стихи перечла и – о радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!

Это _знамя_-то срежет саблею кривою казаку с плеч башку??

Так бедный семилетний варвар правильнее понял _умнейшего мужа России_, нежели в четырежды его старший воспитанник Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Что такое? – Бонапарте вопросил» – с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленно-неизвестными – своей неизвестностью второму неизвестному – Бонапарте.

– «А Бонапарте – что такое»? – нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все

детство попытку вопроса: – Мама, что такое Наполеон? – Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон? – Нет, мне никто не сказал. – Да ведь это же – в воздухе носится!

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическим «Воздушным Кораблем» и «Ночным Смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми – представляла, Пушкиным – представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – совершенно черными: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – как дети рисуют – по крохотному злому черному черногорчику (просто – чертику). А Бонапарте наверное красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте – тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить – забыла).

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

– Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко-волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо, и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедем к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

– Нет! – уже всхлипывала Ася, – потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться…

– Врет! врет! врет!

– …вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

– Правда, Муся, что я _не_ говорил? Что это _она_ сказала?

– Во всяком случае, кто бы ни сказал, – а сказал конечно ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а, наоборот, мы все поедем к морю.

К морю.

Все предшествовавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачево и на пеньки, чтобы _моее_ было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом, – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карльсбадского добереженого до неносимости и невыносимости платья – обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикэя, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – К морю. Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десть писчей бумаги, сложенной ввосьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикэях и шевиотах – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник – с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето – которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо переписывая пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: – Прощай, свободная стихия!

Стихия конечно – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому, что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень

прочное, наверное его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще – это _туда_. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами Ока…

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания _туда_ Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с _моими_ детскими желаниями, то есть полный физический столбняк). И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда _вотще, туда, то, там_ начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенснэ, и с усами… И как мы люто ошибаемся, называя это – _тем_, и как _не_ ошибались – тогда!).

Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон…

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: – «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?

…И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится _гений_. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море…» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду…» ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: – «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние часы…» (Не забуду – буду –)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

И вот – видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила _волн_, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 г. мать, войдя в нашу детскую, сказала «к морю» – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит _К Морю_, т. е. дает обещание, которого не может сдержать.

С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: – «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое – и диктаторское и нищенское: – «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что _мечта_ и _один_ – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

– Ася! Я тебе дам то, Сергей Семеныча, яичко.

– Ты его треснула.

– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси кроме камешков и ракушек в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось – кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?

Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ними – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем к морю не было, были шумы – той розовой австралийской раковины прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ни-чего.

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны – светло-синяя луна – черно-синие тучи – светло-синий столб от луны – и по бокам этого столба – такой уж черной синевы, что ничего не видно – море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное – море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны – лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: – Приезжайте скорее. Здесь чудесно.

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец – со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила – как та же девушка с любимым – тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало – море. Мое море, совсем черное от черноты парты – и дела. Ибо украла я его – чтобы не сидели другие, чтобы другие, видевшие – забыли. Чтобы я одна. Чтобы – мое.

Так с глубоко и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил – день.

– Ася! Муся! Глядите! Море!

– Где? Где?

– Да – _вот!_

– Вот – частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу – плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той на картине явления Христа народу.

Это – море? И переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но – мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив – всегда так. _То_ море – завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы – отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это залив.

Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе подъезжала – тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: – «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы, наконец, после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» {«Русский пансион» (фр.)} – была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет – и будут наши оба _здесь_.

Море было здесь и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гребу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море – здесь, и его – нет.

Утром, по дороге к морю, Валерия:

– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!

Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнет и повсюду пахнет, но… в том-то и дело, что не

узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.

Настораживаюсь.

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока).

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки. – Эта скала называется Лягушка, торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. Это – _наша_ Лягушка.

От меня до Лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

– А это – грот, – поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье – сохну – чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше – тем бледней, и что кончается она белой блестящей линеечной чертою – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах, Я вся соленая – и башмаки соленые.

Море голубое – и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале: Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, _к морю!_ – но значит уже никакого желания нет? но все равно – даже и _без_ желания! я должна дописать до волны, _все_ дописать _до_ волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин

– и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как _тот_ гранит…

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться – точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое _к морю_ было – пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн его души, и естественно, что я в Средиземном море со скалой Лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди – не узнала.

В пушкинскую грудь – в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего – в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К морю было: море+любовь к нему Пушкина, море+поэт, нет! – поэт+море, две стихии, о которых так незабвенно – Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, –

– опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.

Но _К морю_ было еще и любовь _моря_ к Пушкину: море – друг, море – зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин – забудет и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море – взаимное, тот единственный случай взаимности – до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море – мое море – море моего и пушкинского _К морю_ могло быть только на

листке бумаги – и внутри.

И еще одно: пушкинское море было – море прощания. Так – с морями и людьми – не встречаются. Так – прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин – навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз…

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» – или без всякого оттого – я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь – а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием – с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила – белым по серому – шифером по шиферу – и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И – больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда.

Из записных книжек и тетрадей

Записи о моей дочери

26 го августа 1913 г. Ялта

В воспоминание дней когда мы вместе ходили к Лёвам, сочиняли жизнь французской метлоты, смотрели синематографических преступников и сыщиков, возвращались к освященному роковому окну, под церковную музыку, варили манну, перлу, патоку.

Лососина.

Эпиграф.

Ах, несмотря на гаданья друзей,
Будущее непроглядно!
– В платьице твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна!
МЦ

Коктебель, 9?го мая 1919 г., воскресение (день нашей встречи с Сережей – Коктебель, 9-го мая 1911 г. – 2 года!)

Ревность – с этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту тетрадь.

Сейчас Лиля – или Аля – или я сама довела себя почти до слез.

Аля, ты может быть прочтешь это взрослой – и невзрослой, как я сейчас, и тебе будет странно и смешно и очень трогательно читать об этом маленьком, очень горьком горе, причиненном тобою, ребенком одного года мне (кому?), двадцати одного. Так слушай же:

Ты всё время повторяешь: «Лиля, Лиля, Лиля», даже сейчас, когда я пишу. Я этим оскорблена в моей гордости, я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, кто я, я молчу, даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз – ревную.

Раньше, когда я ревновала к людям, я не ревновала. Это было очень сладко и немного грустно. И на вопрос, ревнива ли я, я всегда отвечала: «К книгам – да, к людям – нет».

Теперь же в этой смеси гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего протеста, я ясно вижу – ревность. Чтобы понять всю необычайность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня… лично до 30-го сентября 1913 г.

Ялта, *30* - го сентября 1913 г., понедельник

ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Москва, 4-го декабря 1912 г., вторник

Завтра Але исполняется 3 месяца. У нее очень большие светло-голубые глаза; темно-русые, но еще не черные ресницы и светлые брови; маленький нос; рот с фестонами (большое расстояние между ртом и носом); низкий – скорее четырехугольный, чем круглый – лоб: большие, слегка оттопыренные уши; довольно длинная шея (у таких маленьких это – редкость); очень большие руки с длинными пальцами; длинные и узкие ступни. Вся она длинная и скорее худенькая, tiree en longueur {Вытянутая (фр.)}. Характер у нее живой, подвижный. Она ненавидит лежать, всё время сама приподымается, очено замечает присутствие человека, спит мало. Подолгу сама с собой «разговаривает». 12-ти недель она весила 13 1/2 фунта.

Москва, 11-го декабря 1912 г., вторник.

Вчера Леня Цирес, впервые видевший Алю, воскликнул: «Господи, да какие у нее огромные граза! Я никогда не видал таких у маленьких детей!»

– Ура, Аля! Значит глаза – Сережины. Кстати, о Сережином и моем в ее наружности: глаза, лоб, уши, ресницы, уже в 3 месяца обозначившиеся брови – безусловно Сережины. Рот, нос и – увы! – форма рук – мои. Насчет носа я может быть ошибаюсь, – у нас обоих небольшие носы. Девочка, конечно, пойдет в Сережу. Я, маленькая, была очень крупная и круглая. У нее же всё в длину. Насчет лба я может быть сказала неверно – он, пожалуй, будет большим. Форма его – совершенно Сережина.

Вот. что приходится на день ее рождения в моих двух книжечках, – одной, подаренной мне Frl. Annie {Фройляйн Энни (нем.)} во фрейбурге, когда мне было 12 лет, и. другой из Weisser Hirsch {«Белый Олень» (нем.)}.

В книжке Frl. Annie:

5. September

Kein Stern ja strahlt, wenn Sonnenschein
Die Pfade durchs Gefild umlacht;
Es muss auf Erden dunkel sein,
Wills! schauen Du des Himmels Pracht.
G. Pfarrius

{5 сентября
Ни одна звезда не светит,
Когда солнце заливает долины;
На земле должно быть темно,
Если ты хочешь видеть великолепие небес.
Г Пфарриус (нем.)}

18. September (день ее имянин – и рождения по новому стилю)

Volkes Stimme – Gottes Stimme!
Wahr ist Eines: tauben Ohren
Gehen beide meist verloren
Donnern sie nicht wild im Grimme,
A.I.v. Tschabuschnigg

{18 сентября
Глас народа – глас Бога!
Истина в том, что глухие
Не слышать ни того, ни другого
До тех пор, пока они не загремят в буйном гневе.
А. И. фон Тшабушниг (нем.)}

– Вот так поэт! И довольно нелепое изречение.

В книжке «Gedenke mein» {Думай о себе (нем.)}

5. September

Wenn Andre vieles um den Einen tun,
So ist's auch billig, dass der Eine wieder,
Sich fleissig frage, was den Andern nuhzt.
Goethe
{5 сентября:
Если кто-то много делает для другого,
Было бы справедливо, если бы этот другой
В свою очередь старательно расспросил первого,
Какая ему в этом польза.
Гете (нем.)}

O, grosser Goethe! {О, великий Гете (нем.)} Ты мог бы сказать лучше! Одно слово «fleissig» {«прилежно» (нем.)} кэн сншл стоит

Дальше:

18. September (день ее рождения по новому стилю)
So leise weht ein Luftchen kaum,
Dass nicht davon der Epheu schwankte,
Und doch, der Sturm bricht nur den Baum,
Doch selten sine Epheu ranke.
{18 сентября
Плющ колеблется
От самого легкого дуновения ветерка.
Но даже буре редко удается оторвать
Его цепкие побеги от дерева (нем.)}
(Без подписи)

Это лучше других, но в общем всё – средне.

Теперь я буду загадывать по «Mustersammlung» Schwab'a. {«Собрание образцов» Шваба (нем.)}

1) Будет ли внешнее иметь влияние на ее внутреннее и как?

«Das Gefundne dann vernuchen'». *Jacobi* {«Найденное – позже проклинать». Якоби (нем.).}.

2) Чем она будет руководствоваться в своих поступках?

«O Retter, Retter, komm geschwind!». *Burger.* {«О Спаситель, Спаситель, приди скорей!» Бюргер (нем.)}

3) Будет ли в ней незнакомое нам с Асей чувство морали? «Nur den Sklavensinn, der es verschmaht». *Schiller.* {«Только раболепие отвращает». Шиллер (нем.).}

4) Как она будет смотреть на ложь?

«Mit sichern Schritten hin». *Hagedorn.* {«Туда – уверенными шагами». Хагедорн (нем.).}

5) Что она будет больше всего любить в жизни?

«Mit Freuden musst Du Leide tragen». *Seidel.* {«Ты с радостью должен нести страданья». Зайдель (нем.)}

6) Ее призвание?

«So tief hinab, so hoch hinan». *Ziegendorf.* {«Что низ, на дно, что снова вверх – пути равны». (нем.).}

7) Ее отношение к людям?

«Recht in Dir gestillet werden». *Tersteegen.* {«Право на утешение – в тебе». Терштеген (нем.).}

8) Будет ли она понимать людей?

«Liebe kann nicht untergehen». *Jakobi.* {«Любовь не тонет». Якоби (нем.).}

9) Будет ли у нее раздвоение?

«Was frommt es, wenn ich Dir den Wunsch verhehle?. *Tieck.* {Что пользы в скрытом желании?«». (нем.).}

10) Будет ли у нее обожание?

«Ein Recht auf jeden bubschen Mund». *Novalis.* {«Право на каждый мальчишеский рот». Новалис (нем.).}

11) Будет ли она красавицей?

«Im letzten Hauche trunken» Аппette *von Droste-Hulshoff.* {«Последним вздохом выпит». Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (нем.).}

12) Отношение к сказкам?

«Ich lasse meinen Freund zuruck». -?– {«Я оставляю моего друга». (нем.).}

13) Ее любимый образ женщины?

«Das lebensfrohe Spiel». {«Жизнерадостная игра». (нем.).}

14) Мужской образ?

«Sein entehrt Geschlecht». {«Его бесчестный род». (нем.).}

15) Ее главная ошибка?

«Begierden in mirbrausen,

Nach Ruh die Sehnsuchtschreit». {«Желания во мне кипят, об отдыхе мой крик тоски». (нем.).}

16) Ее первая любовь?

«Retten sich in ihrer Flut». {«Спасись в ее пучине». (нем.).}

Итак; она будет искать и проклинать найденное (неудовлетворенность); к людям идти всегда за помощью; будет рабом своих чувств и презирать мораль; прямо идти на ложь; любить свое страдание; знать падение и подъем; искать утоление в людях и любя понимать их; будет чувствовать право на каждые красивые губы; будет красивой лишь в минуты высшего подъема; из-за сказки оставит друга; ее любимое в женщине будет радостная игра с жизнью, в мужчине – ihr ganz entehrt Geschlecht (!); {«их бесчестное племя». (нем.).} ее чувства – верней, желания будут пламенны, и даже тоска ее будет криком; в первой любви она будет спасаться.

* * *

Какая-то безудержная душа! Во всяком случае скорее моя, чем Сережина. Но я ей такой не желаю.

Москва, 12-го декабря 1912 г., среда.

Пра сегодня в первый раз видела Ариадну.

– «Верно огромные у нее будут глаза!»

– Конечно, огромные!

Об Але: говорю заранее – у нее будут серые глаза и черные волосы. Сейчас ее волосы цвета моих, а глаза синие, самого настоящего синего цвета.

Она, конечно, будет поразительным ребенком.

Москва, 19-го декабря 1912 г.

У Али за последнее время очень выросли волосы, – на голове уже целая мягкая шерстка. Завтра у нас крестины.

Далее три листа оставлены незаполненными.

Феодосия, 12-го ноября 1913 г., вторник

Але 5-го исполнилось год два месяца. Ее слова:

ко – кот раньше «ки»
куда – куда, где
Лиля
мама
няня
папа
«па» – упала
«ка» – каша
«кука» – кукла
Аля

«мням-ням»
«ми-и»-милый
ку-ку
тетя
Вава – Ваня

Всего пока 16 слов, вполне сознательных, изредка говорит еще «ува» – лева.

У нее сейчас 11 зубов.

Она довольно хорошо ходит одна, хотя еще побаивается: прижимает к груди обе руки. Ходит быстро, но не твердо.

В Левиной комнате есть арка с выступами, на одном из которых сидит большой синий с желтым лев – подарок Эвы Адольфовны и Петра Николаевича. Аля проходит, держа в руке другого льва из целлулоида – маленького, подарок Веры.

– Аля, положи леву к леве!»

Она кладет маленького между лап большого и на обратном пути вновь берет его.

– «Аля, дай леву папе!»

Она подходит к Лёве и протягивает ему льва.

– «Папа! Папа! На!»

– «Аля, ку-ку!»

– «Ку-ку!»

– «Кто это сделал? Аля?»

– «Аля!»

– «Аля, дай ручку!»

Дает, лукаво спрятав ее сначала за спину. Это у нее старая привычка – еще с Коктебеля.

Она прекрасно узнает голоса и очаровательно произносит «мама» – то ласково, то требовательно до оглушительности. При слове «нельзя» свирепеет мгновенно, испуская злобный, довольно отвратительный звук – нечто среднее между э и а – вроде французского «in».

Интересно то, что она уже произносит букву р – не в словах, но в отдельных звуках.

Еще одна милая недавняя привычка.

Сережа всё гладит меня по голове, повторяя:

– «Мама, это мама! Милая мама. милая, милая! Аля. погладь!»

И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговаривая; «Ми, ми'» – т. е. «милая, милая!»

Теперь она так гладит всех, – и Лёву, и Волчка, и Кусаку, и няню – всех, кроме Аси, которую она злобно бьет по шляпе.

Меня она любит больше всех. Стоит мне только показаться, как она протягивает мне из кроватки обе лапы с криком «на!». От меня она идет только к Сереже, к няне – с злобным криком.

В общем она веселая, страшно живая, с великолепной памятью, лукавая, – вся какая-то сияющая.

Упряма, но как-то осмысленно, – и совсем не капризна.

Кота она обожает: хватает его зачто попало, при виде или голосе его радостно кричит: «ко», поднимает его за загривок на воздух, старается на него наступить. Все животные для нее «ко».

Феодосия 12-го ноября 1913 г.

Але 1 г. 2 мес. неделя

Сейчас она сидит у меня на коленях и дает бумажку со спичечной коробки: «на!».

Вчера вечером, когда я заходила к Редлихам за чаем для Сережи и Аси, Эрнест Моритцович сказал мне: «Хотите, я Вам расскажу новость?» – «Какую?». – «Ваша дочка танцует. Ее сегодня приносила к нам на минутку Аннетта – и представьте себе: она танцевала! Прямо по-настоящему танцовала! Это было так трогательно!»

(Сейчас она изо всех сил кричит за дверью: «Мама! Мама! Мама!»)

С виду ей можно дать полтора года и больше. У нее бледное личико с не совсем еще сошедшим загаром. Глаза – огромные, светло-голубые. Брови темнеют. – «У нее будут соболиные брови!» сказала Пра, когда увидела ее после 2 мес. разлуки. Ресницы очень длинные, густые и темные. Рот – небольшой, узкий, изогнутый – мой. Нос – «обыкновенный» (как пишут в газетах, разыскивая преступника.) Волосы – по выражению Аси – «пегие»: на затылке русые, спереди льняные, но у корня – русые везде. Подстриженная чолка не отделяется цветом от лба. Сзади волосы длиннее, в общем они до вольно твердые и очень густые.

Дней пять тому назад мы гуляли с ней вечером при луне. Нужно было видеть, как жадно она на нее смотрела. Какой великолепной игрушкой она ей должно быть казалась! Я нарочно повертывала ее колясочку «лицом» к луне.

О ее глазах: когда мы жили в Ялте, наша соседка по комнатам – опереточная певица часто повторяла, глядя на Алю: «Сколько народу погибнет из-за этих глаз!»

И здесь, в Феодосии, – один художник – анархист – безумец – очаровательный, самовлюблённый, самоупоенный, резкий, невозможный Prevost – француз, родившийся в Алжире – сказал мне, только что познакомившись: «Вчера я видел Вашу дочь. Какой прелестный ребенок! И какие у ней глаза! Сколько я ни смотрел, я никак не мог охватить их взглядом!» –

На левом поле, поперек страницы, напротив последнего абзаца ремарка, сделанная позднее:

Этот самый Prevost оказался прохвостом, проклинающим нас с Асей. 11-го марта 1914 г.

* * *

«Какая ручка миляля»
Воскресение.

* * *

Понед<ельник>:
у мамы гаски, нос, мода

* * *

розочка упала, розочка гадость
Дверь кусается
Тушить – будет (т. е. дуть на ушибленное место)
Дай, паята, купаться!

* * *

Среда
Дождь пи сделал
Кусака будет мыть ручку.
Бежит курица. Дрожит

* * *

Аля 2-го июня 1914 г. (день С. и Л. А.)
Пенье
– «Мама-чка-чка» и т. д.
– «Это замечательный реб<енок>. Когда она сегодня слушала…»
«Меня»(поцелов<ать>)
– «Татарин, бери Алю»

Напудр<енное> лицо
«Картинку посм<отрим>?

* * *

– «Огонь».
– «Да, огонь загорелся!»
– «Котин дом. Загорелся котин дом.»
(во время купания)
Поцелуй ручку, другую ручку поцелуй; поцелуй Алю, хочу;
поцелуй чувяку, поцелуй меня

* * *

Бяка такая!

* * *

Анд<рюша>: Луны нет
Аля: Луна есть!

* * *

Морда плачет.

* * *

23-го июня утром
Разглядывая портсигар – «Посмотри, мама, – море!»

* * *

Глядя на ракушку
– «Платьице, посмотри, красивое!»
Фраза: «Гулять пойдем скоро, – пальто наденем?»

24-го июня 1914 г.
Я кашляла.
Теточек кашляет.
Хлеб – красивый!
Мозно одеть кольцо?
Кусака, друг милый.

25-го июня
Кусака, милый друг, проситься надо!
(На лисицу)
Няня, пойди сюда, минутку!
(за дверью)
Сделай так!
Море дома

* * *

Ай, какие косточки!

Ай, какой красивый камешек!
На, камешки красивые

Мама не хочет…
– Чего мама не хочет?
– Кутать камешки.
– Горшок, иди сюда?
– Обезьяна, до свидания. Обезьяна, ручку давай!

* * *

Андрюша, забери гром!
Андрюша, татар бери!

* * *

Андрюшу поставили угол.

* * *

страх грома

* * *

Мама, на хлеб (спичка)
Мама, осушай пи.
«Ханя!»
– «Что такое за «ханя»

* * *

4-го июля
Марина!
Барыня!
Кира, не пать, дорогая, вот так сиди!

* * *

Кира без сапотьки, нету сапотьки.

* * *

Мама, кушай карандаш!

* * *

На Венеру: «Тетя! Тетенька! Поди сюда! На руки!»

* * *

Марина, поди сюда!
– «Мама, не пать!»
(Я делаю вид, что плачу.)
– Еще, пожалуйста, – потом!

* * *

– «Марина, прицеси Альке волосы!»

* * *

Ветер, иди сюда!
Ветер гадкий, забери ветер.

* * *

Мама, садись тимодан!

* * *

5-го июля 1914 г.
– «Больно!»
– «Где?»
– «Фантази!!»

* * *

– «Мама, слушай!»
– «Что?»
– «Музыку!»
– «Где?»
– «По дорожке ушла».

1-го июня 1918 г.
Аля:
«В твоей душе тишина, грустность, строгость, смелость. Ты уме-ешь лазить по таким вершинам, по которым не может пройти ни один человек. В твоей душе – еще ты. Ты иногда в душе наклоняешь голову».
– Ты сожженная какая-то.
– Я никак не могу выдумать тебе подходящего ласкательного слова. Ты на небе была и в другое тело перешла.

* * *

Аля: «У меня тоже есть книга – Толстого Льва: как лев от любви задохся».

* * *

– Вы любите детей? – Нет. – Могла бы прибавить: «не всех, так же, как людей, таких, которые» и т. д. Могла бы – думая об 11-летнем мальчике Османе в Гурзуфе, о «Сердце Anne» Бромлей и о себе в детстве – сказать «да». Но зная, как другие говорят это «да» – определенно говорю: «нет».

* * *

Куда пропадает Алина прекрасная душа, когда она бегает по двору с палкой, крича: Ва-ва-ва-ва-ва!

* * *

Почему я люблю веселящихся собак и НЕ ЛЮБЛЮ (не выношу) веселящихся детей?

* * *

Детское веселье – не звериное. Душа у животного – подарок, от ребенка (человека) я ее требую и, когда не получаю, ненавижу ребенка.

* * *

Люблю (выношу) зверя в ребенке – в прыжках, движениях, криках, но когда этот зверь переходит в область слова (что уже нелепо, ибо зверь бессловесен) – получается глупость, идиотизм, отвращение.

* * *

Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, бездушна, и я страдаю, чувствуя отвращение, чуждость, никак не могу любить.

* * *

Аля принесла цветы Лиле. Узнаю случайно. – С 10 ч. утра до 2 ч. Аля обратилась ко мне всего один раз: «Мама, можно» и т. д. Когда она с детьми, она меня определенно забывает. Только к вечеру, когда закат: «Марина! Какое красивое небо!».

* * *

Дети глупы, как птицы. Душа в ребенке постоянно присутствует, очевидно, только с пробуждением пола.

Птички, цветочки, росинки, соринки, – я оглушена этой невинностью.

* * *

«Взрослые не понимают детей». Да, но как дети не понимают взрослых! И зачем они вместе?!

* * *

Аля (5 л. 9 мес.) с др<угими> детьми абсолютно банальна <над строкой: ничтожна>: повторяет – с наслаждением – чужие глупости, гоняет кур. Где она дома: в своей гениальности <над строкой: вселенскости> (со мной) или здесь?

* * *

В детстве я всегда рвалась от детей к взрослым, 4 л. от игр к книгам. Не любила – стеснялась и презирала – кукол. Единств<енная> игра, к<отор>ую я любила: aux barres, {бег наперегонки} 11 л., в Лозанне – за то, что две партии <под строкой: два стана> и героизм.

4-го июля 1918 г.

Аля: – «М<арина>! Что такое – бездна?»

Я: – «Без дна».

Аля: – «Значит, небо – единственная бездна, потому что только оно одно и есть – без дна».

* * *

– «Марина! Я тебя люблю, а папу жалею. Когда я жалею, я чувствую какое-то загорание, а когда люблю – огонь».

* * *

– «Марина! Неужели ты все эти стихи написала? Мне даже не верится – так прекрасно!»

* * *

Аля напоминает Поля Домби и маленького лорда Фаунтельроя <фаунтлероя>,– так же как внешне она, с первого года своей жизни, определенно английский ребенок.

В литературе есть мальчики, ее напоминающие. Девочек таких – нет.

* * *

Аля, на улице:

– «Я чувствую себя немного офицером, точно в жилах моих течет военная кровь».

* * *

Аля, 27-го апреля 1919 г.

– «Я хочу посадить Вас на престол Любви, Жалости, Справедливости.»

Перед сном:

– «Вы скоро будете под пологом предсказаний!»

* * *

Алина игра в суп.

– «Ну, Марина, последний кусок картошки, – сейчас Россия будет спасена!»

(Картошка и вообще всё, что плавало в супе – б<ольшеви>ки.)

МАЙ 1919 г.

12 мая, ст. ст

Аля, просыпаясь:

– «Марина! Мне снилось: ненадежный женский голос!»

* * *

– «Марина, какой у меня сейчас ржавый голос!» (немножко хриплый со сна.)

– «Марина! Чортова дюжина – 13, человеческая – 12, а ангельская?»

* * *

Аля – в Духов день – на Воробьевых горах:

– «Марина! Балерина должна быть всю жизнь в восторге и в свободе. Мне кажется: танцовщица от счастья, а не от учености.

* * *

– «Марина! Не правда-ли, всё лето – нежность? Но не от слабости, а от силы.»

В первый раз в жизни я каталась на каруселях 11?ти лет, в Лозанне, второй – третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, 26 лет, с 6 летней Алей. Между этими двумя каруселями –

Жизнь.

* * *

Москва, – кажется 10-го ноября 1919 г.
Аля закрыла Ирину с головой одеялом и – внезапно:
– «Марина! – Глядите! Беснующаяся пирамида!»

* * *

– «Марина, Вы «еврей» переправляете на «жид», как другие «жид» на «еврей».

* * *

– «Марина! – Сколько людей – с такими прекрасными фамилиями я не знала! Напр<имер>: Джунковский!»
– «Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка!»
– «А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!» (Бедный Д<жунков>ский!)

* * *

– «Я люблю папу, Вас и Музыку».

* * *

Про индийский храм на картинке:
– «О Марина! Какая роскошная тюрьма души!»

* * *

– «Ведь хуже – деньги, проживешь их! А как можно Музыку прожить?»
(Пауза.)
…«Пережить – как?»

* * *

Я рассказываю:
– «Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок, – роза! – Огненные глаза, гордый подъем головы, бывшая жестокая красавица. И всё осталось, – только вот-вот рассыплется… Розовое платье, пышное, страшное, п<отому> ч<то> ей 70 лет, розовый «чепец парадный», крохотные туфельки. Под ногами пышная шелковая подушка, – розовая, конечно – тяжелый, тусклый, скрипучий шелк… – И вот, под удар часов, является к ней жених ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантный, галантный, стройный камзол, шпага…»
– «О, Марина! – Смерть или Казанова!»

* * *

– «Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»? Ее последнее слово, – вздох скорее! – с к<отор>ым она умирает?»
– «Конечно – Любовь!»
– «Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур».

* * *

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие. Амур – воплощение. Понятие – общее, безграничное, воплощение – острие, вверх! – всё в одной точке. – Понимаешь?»

– «О, Марина, я поняла!»

– «Тогда, скажи мне пример!»

– «Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны».

– «Ну, ничего, ничего, говори. Если неверно, я скажу».

– «Музыка – понятие, Голос – воплощение».

(Пауза.)

– «И еще: Доблесть – понятие, Подвиг – воплощение. – Марина, как странно! – Подвиг – понятие, Герой – воплощение».

* * *

– «Аля, как ты себя чувствуешь?»

– «Я чувствую себя так, точно у Вас жар».

* * *

– «Аля! Какая прекрасная вещь – сон!»

– «Да, Марина, – и еще: Бал!»

* * *

– «Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и – вдруг – со строющегося дома – камень на голову – готово!»

* * *

Аля, чуть позабавленно:

– «Нет, Марина, мне это не особенно нравится. – Уж лучше: всё здание!»

* * *

Аля, перед сном:

– «Марина! Желаю Вам всего лучшего, что есть на свете. – Может быть: что еще есть на свете»…

(Цитирую Бэкфорда:)

– «Я ложусь спать только для того, чтобы видеть во сне то, что мне необходимо». – Как тебе это нравится, Аля?»

– «О Марина! Да ведь это – Вы, Ваше!»

* * *

Ах, несмотря на гаданья друзей,
Будущее непроглядно!
– В платьице твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна!
МЦ

Коктебель. 5-го мая 1913 г., воскресенье. (День нашей встречи с Сережей. – Коктебель, 5-го мая 1911 г., – 2 года!)

Ревность. – С этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту тетрадь.

Сейчас Лиля – или Аля – или я сама – довела себя почти до слез.

– Аля! Тебе один год, мне – двадцать один.

Ты все время повторяешь: «Лиля, Лиля, Лиля», даже сейчас, когда я пишу.

Я этим оскорблена в своей гордости, я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, – кто я. Я молчу, я даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз – ревную.

Это – смесь гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего возмущения.

– Чтобы понять всю необычайность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня – лично – до 30-го сентября 1913 г.

Ялта, 30-го сентября 1913 г., понедельник

Аля – Ариадна Эфрон – родилась 5-го сентября 1912 г. в половину шестого утра, под звон колоколов.

Девочка! – Царица бала,
Или схимница, – Бог весть!
– Сколько времени? – Светало.
Кто-то мне ответил: – Шесть.
Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, –
Девочку мою встречали
Ранние колокола.

Я назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые («Ну, Катя, ну. Маша, – это я понимаю! А зачем Ариадна?»), друзьям, которые находят, что это «салонно».

Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией.

– От Антрилии до Ариадны, – Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью. – Ариадна. – Ведь это ответственно! – Именно потому.

Алиной главной, настоящей и последней кормилицей (у нее их было пять) – была Груша, 20-тилетняя красивая крестьянка Рязанской губ<ернии>, замужняя, разошедшаяся с мужем.

Круглое лицо, ослепительные сияющие зеленые деревенские глаза, прямой нос, сверкающая улыбка, золотистые две косы, – веселье, задор, лукавство, – Ева!

И безумная, бессмысленная, безудержная – первородная – ложь.

Обокрав весной весь дом и оставленная мной в кормилицах, она, приехав в Коктебель – было очень холодно, безумные ветра, начало весны, – она писала домой родителям:

«Дорогие мои родители! И куда меня завезли! Кормлю ребенка, а сама нож держу. Здесь все с ножами. На берегу моря сидят разные народы: турки, татары, магры» (очевидно, смесь негра и мавра!).

– Барыня, какие еще народы бывают?

– Французы, Груша!

«…турки, татары, магры и французы и пьют кофий. А сами нож держат. Виноград поспел, – сладкий. Вчера я была в Старом Иерусалиме, поклонялась гробу Господню…»

– Груша, зачем вы все это пишете?

– А чтобы жалели, барыня, и завидовали!

В Коктебеле ее все любили. Она работала, как вол, веселилась, как целый табун. Знала все старинные песни, – свадебные, хороводные, заупокойные. Чудно танцевала русскую. По вечерам она – без стыда и совести – врывалась на длинную террасу, где все сидели за чаем – человек тридцать – и всплескивая руками, притоптывая ногами, визжа, причитая, кланяясь в пояс, «величала» – кого ей вздумается.

– И Максимилиана – свет – Александровича и невесту его – которую не знаю…

И еще:

Розан мой алый,
Виноград зеленый!

Алю она страшно любила и так как была подла и ревнива, писала домой: «А девочка барыню совсем не признает, отворачивается, меня зовет «мама». – Явная ложь, ибо Аля меня знала и любила.

Аля в то время была Wunderkind'ом по уму, красоте глаз и весу. Все восхищались и завидовали. Один господин, увидев нас вместе: прекрасного Сережу, молодую меня, похожую на мальчика, красавицу Грушу и красавицу Алю, воскликнул:

– Целый цветник! –

Мне, когда родилась Аля, не было 20-ти, Сереже – 19-ти. С Алей вместе подрастал котенок – серый, дымчатый – Кусака. Рос он у меня за матроской и в Алиной кровати. Груша отцеживала ему своего молока, и вырос он почти человеком. Это была моя великая кошачья любовь.

Его шкурка до сих пор висит у меня на стене – ковриком.

Макс Волошин о Груше и Але сказал однажды так:

– У нее пьяное молоко, и Аля навсегда будет пьяной.

Груша ушла от меня, когда Але был год. Ее выслала из Ялты полиция – ждали Царя и очищали Ялту от подозрительных личностей, а у Груши оказался подчищенный паспорт. Она вместо фамилии мужа, которого ненавидела, поставила свою, девичью.

Приехав в Москву, она заходила ко всем моим коктебельским знакомым и выпрашивала – от моего имени – деньги.

Потом я потеряла ее след.

* * *

Написано мая 1918 г., Москва

ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Москва, 4-го декабря 1912 г., вторник.

Завтра Але 3 месяца. У нее огромные светло-голубые глаза, темно-русые ресницы и светлые брови, маленький нос, – большое расстояние между ртом и носом, – рот, опущенный книзу, очень вырезанный; четырехугольный, крутой, нависающий лоб, большие, слегка оттопыренные уши; длинная шея (у таких маленьких это – редкость); очень большие руки с длинными пальцами, длинные и узкие ноги. Вся она длинная и скорей худенькая, – tiree en longueur.

Живая, подвижная, ненавидит лежать, все время сама приподнимается, замечает присутствие человека, спит мало.

Родилась она 9-ти без четверти – фунта. 12-ти недель она весила – 13 1/2 ф<унтов>.

Москва, 11-го декабря 1912 г., вторник.

Вчера Л<еня> Ц<ирес>, впервые видевший Алю, воскликнул; «Господи, да какие у нее огромные глаза! Я никогда не видел таких у маленьких детей!»

– Ура, Аля! Значит глаза – Сережины.

Москва, 12-го декабря 1912 г., среда.

Пра сегодня в первый раз видела Ариадну. «Верно, огромные у нее будут глаза!»

– Конечно, огромные!

Говорю заранее: у нее будут серые глаза и черные волосы.

Москва, 19-го дек<абря>

У Али за последнее время очень выросли волосы. На голове уже целая легкая шерстка.

Завтра у нас крестины.

Крестной матерью Али была Елена Оттобальдовна Волошина – Пра. Крестным отцом – мой отец, И. В. Цветаев.

Пра по случаю крестин оделась по-женски, т. е. заменила шаровары – юбкой. Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гёте, огромная голова.

Мой отец был явно смущен. Пра – как всегда – сияла решимостью, я – как всегда – безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере:

– Мать по лестницам бегает, волоса короткие, – как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина…

Я забыла сказать, что Аля первый год своей жизни провела на Б<ольшой> Полянке, в М<алом> Екатерининском пер<еулке>, в собственном доме, – купеческом, с мезонином, залой с аркой, садиком, мохнатым-лохматым двором и таким же мохнатым-лохматым дворовым псом, похожим на льва – Османом. Дом мы с С<ережей> купили за 18 1/2 тысяч. Османа – в придачу – за 3 р<убля>.

Эта пометка относится к маю 1918 г.

Феодосия, 12-го ноября 1913 г., вторник.

Але 5-го исполнилось 1 г<од> 2 мес<яца>.

Ее слова:

ко – кот (раньше – ки)
тетя Вава – Ваня
куда – куда
где, Лоля
мама
няня
папа
па – упала
ка – каша
кука – кукла
нам, на – на
Аля
мням-ням
ми-и – милый.

Всего пока 16 сознательных слов. Изредка говорит еще «ува» – лёва.

У нее сейчас 11 зубов.

Она ходит одна. Побаивается, прижимает к груди обе руки. Ходит быстро, но не твердо.

В Сережиной комнате есть арка с выступами, на одном из которых сидит большой – синий с желтым – лев.

Аля проходит, держа в руке другого льва – из целлулоида.

– Аля, положи лёву к лёве! –

Она кладет маленького между лап большого и на обратном пути вновь берет его.

– Аля, дай лёву папе.

Она подходит к С<ереже> и протягивает ему льва.

– Папа! Папа! На!

– Аля, куку!

– Куку!

– Кто это сделал? Аля?

– Аля!

– Аля, дай ручку!

Дает, лукаво спрятав ее сначала за спину. Это у нее старая привычка, – еще с Коктебеля.

Она прекрасно узнает голоса и очаровательно произносит: «мама», – то ласково, то требовательно до оглушительности. При слове «нельзя» свирепеет мгновенно, испуская злобный, довольно отвратительный звук, – нечто среднее между «э» и «а» – вроде французского «in».

Уже произносит букву «р», – не в словах, а в отдельных звуках.

Еще одна милая недавняя привычка.

С<ережа> все гладит меня по голове, повторяя:

– Мама, это мама! Милая мама, милая, милая. Аля, погладь!

И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговаривая:

– Ми! Ми! – т. е. «милая, милая».

Теперь она так гладит всех – и С<ережу>, и Волчка, и Кусаку, и няню – всех, кроме Аси, которую она злобно бьет по шляпе.

Меня она любит больше всех. Стоит мне только показаться, как она протягивает мне из кроватки обе лапы с криком: «на!»

От меня идет только к Сереже, к няне – с злобным криком.

* * *

Ни разу – о детях. Если С<ережи> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<ережи>.

* * *

Аля (4 года). – Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,

Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки – из дому палят!

(После восстания)

* * *

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых. – всех знакомых и не-знакомых».

* * *

Ваши книги – книги про всё (так Аля, 6-ти л., назвала свою будущую книгу).

* * *

В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приезжать? и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь?), бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно:

– Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил – полными. Я на них не лег, я только чего-то толстого и холодного… коснулся… Какого-то… живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

– Моя свинья.

– Ваша? И вы ее… любите? Вы в нее… играете? Вы ее… берете в руки? (Уже осуждающе:) – Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется… играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете?

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно глотает. Белый, оторвав от него невидящие (свиным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

Я… не люблю свинью… Я – боюсь свинью!..

Этим ю как перстом или даже копьем упираясь в свинорыльный пятак.

* * *

И, точно удивившись внезапно проступившей тишине:

– А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с детства! С Пречистенского бульвара. С каждой елки, с каждого дня рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) Они у меня все ломали, их приход был нашествие… (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: листает такой ангел любимую книгу и перервет вкось – точно рваная рана… И не скажите – нечаянно, редко – нечаянно, всегда – нарочно, всё нарочно, назло, искоса, исподлобья – скажу или нет. О, они, как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только – не показать страха, не дрогнуть… Больной волк ведь, когда заболеет, наступает на больную лапу… Знает, что разорвут. О, как я их боюсь! А вы – не боитесь?

* * *

– Своих – нет.

– А у меня своих – нет. И, наверное, уже не будет. Может быть – жаль? Может быть, лучше было бы, если бы-были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то… прочнее был бы на земле?..

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:

– Ма-ама!

Я, с самонасильственной простотой:

– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:

– Ей в одно местечко нужно.

– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.

– Но кто же вас здесь… поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)

– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.

* * *

– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!

– Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит.

– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?

– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Чтобы кончить о «девочке, которой нужно» и Белом. Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву.

– Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:

– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.

* * *

В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам – льва, Аля:

– Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза – точно все врут.

– Не скажите! – учтиво и агрессивно сорокалетний – восьмилетней. – Лев Толстой, это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.

* * *

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжущей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:

– Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая простая… И дочь тихая, разумная, ничего не говорит… (И, уже как припев:) Приятно!

* * *

Из московских записей 1919 /1920 г.

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<ереже>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<ет>, Ирине 2 г<ода> 7 м<есяцев» в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «?l?ve de Br?guet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<ысяч>, т. е. 1 1/2 пуда муки.) То же с детскими весами. (Шарль же.)

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<оспо>жа Г<ольд>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета!) Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<вягин>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р. С. Т<умар>кин, брат г<оспо>жи Ц<ет>лин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. –

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда.) Его слова: «я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой!)

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – выдул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносится, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка – не жить. Угли – мука от пилы-лужи… И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<ольдма>нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка – чужие, мое все украдено.) Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<оспо>жи Г<ольд>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему:

«Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно.)

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываем – или Аля или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions[68] на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни постоянных ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: каждый взвизг чужой пилы, каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье

68 Подъемник (*фр.*)

чужой двери, каждый шум во дворе, – все, кроме стука в нашу дверь!) И – вдруг – кажется стучат! – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать только день.

* * *

Мы с Алей:

Аля:

– Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<жунков>ский!)

* * *

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок, – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, – только вот-вот рассыплется… Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под вострым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас… И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен, – камзол, шпага…

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова! (Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс».)

* * *

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»?[69] Ее последнее слово, – вздох, вернее! – с которым она умирает?

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее, круглое, воплощение – острие, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза.) И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

* * *

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося

69 Пьеса, которую я не дописала и потеряла (*примеч.* М. Цветаевой)

дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень… Вот если бы – все здание!

*** * ***

Аля, перед сном:

– Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете. Может быть: что еще есть на свете…

*** * ***

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

Але

1

Не знаю, где ты и где я.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!
И так хорошо нам вдвоем:
Бездомным, бессонным и сирым…
Две птицы: чуть встали – поём.
Две странницы: кормимся миром.

2

И бродим с тобой по церквам
Великим – и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим – и знатным, господским.
Когда-то сказала: – Купи! –
Сверкнув на кремлевские башни.
Кремль – твой от рождения. – Спи,
Мой первенец светлый и страшный.

3

И как под землею трава
Дружится с рудою железной, –
Все видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.
Сивилла! – Зачем моему
Ребенку – такая судьбина?
Ведь русская доля – ему…
И век ей: Россия, рябина…

24 августа 1918

Публицистика

Детям

<ЗИМА 1937/38 ГОДА. ВАНВ.>

[ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ]

Милые дети!

Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы – люди или нелюди, – как мы. Но говорят: что вы есть, что вы – особая порода, еще поддающаяся воздействию.

Потому:

– Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек.

– Но оттого, что я не пролью этой воды, ведь он ее не получит!

– Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.

Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет его взять так, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в смешном положении: 1) постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно – 2) прыгайте в него к человеку, как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого – или же на худой конец – не видьте смешного в смешном!

Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются! (NB! ряд примеров, которые сейчас опускаю.) У «всех» есть второе имя – никто, и совсем нет липа – пробел. Ну а если вам скажут: «Так никто не делает» (не одевается, не думает и т. д.) – отвечайте: «А я – кто!»

Не ссылайтесь на «немодно», а только на: «неблагородно».

Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами и вы будете ими.

Кроме того, для вас они – родители, для самих себя – я. Не исчерпывайте их – их родительством.

Не осуждайте своих родителей на смерть раньше (своих) сорока лет. А тогда – рука не поднимется!

Увидя на дороге камень – уберите, представьте себе, что это вы бежите и расшибаете себе нос; из сочувствия (хотя бы себе – в другом!) уберите.

Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стыдитесь – не уступить!

Не отличайте себя от других – в материальном. Другие – это тоже вы, тот же вы. (Все одинаково хотят есть, спать, сесть и т. д.)

Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно – сознания. После победы – протяните руку.

Не отзывайтесь при других иронически о близком (хотя бы даже о любимом животном!); другие уйдут – свой останется.

Книгу листайте с верхнего угла страницы. Почему? Потому что читают не снизу вверх, а сверху вниз.

Это у вас должно быть в руке – как у меня.

Доедая суп, наклоняйте тарелку к себе, а не от себя к другому: чтобы в случае беды пролить суп не на скатерть и не на визави, а на собственные колени.

Когда вам будут говорить: «Это – романтизм», вы спросите: «Что такое романтизм?» – и увидите, что никто не знает; что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают вам в лоб!) – слово, смысла которого они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского:

– «Романтизм – это душа».

О новой русской детской книге

Что в России решительно хорошо – это детские книжки. Именно книжки, ибо говорю о книгах дошкольного возраста, тоненьких тетрадочках в 15–30 страниц. Ряд неоспоримых качеств. Прежде всего, почти исключительно, стихи, то есть вещи даны на языке, детьми не только любимом, но творимом, – их родном. (Детей без собственных стихов – нет, как нет без песен – народов.) Второе качество (без которого первое, то есть сами стихи – порок) – качество самих стихов: превосходное. Читаешь, восхищаешься, и: кто это пишет? Никто. Безымянный. Имя, ничего не говорящее. Пишет высокая культура стиха. Так в моем детстве и поэты для детей не писали. Третье: сама тема этих книг: реальная, в противуположность так долго и еще так недавно господствовавшей в русской дошкольной литературе лжефантастике, всем этим феям, гномам, цветочкам и мотылечкам, не соответствующим ни народности (первые), ни природе (вторые). Четвертое: разгрузка от удушливо-слащавого быта детской, с его мамами, нянями, барашками, ангелочками, малютками, опять-таки никакой реальности не соответствующими (сравни довоенный младенческий журнал «Малютка» и раннее детство Багрова-внука, тех «мам» – и ту мать), а если и соответствующими – то к прискорбию. Есть и в новой детской литературе бараны, но – именно бараны, и пасутся они на пастбищах Туркестана, и шерсть у них клочьями, а не завитая у парикмахера. Ребенок игрушечного барашка превращает в барана (жизнь), зачем же детям жизнь (природу) превращать в игрушку? Ведь все дело – в живом баране. А при баране – пастух, а под бараном – трава, а над бараном небо. И пастух так-то одет, и такую-то песнь, на такой-то дудке (и из какого дерева, и сколько дырочек – сказано) играет, и трава именно трава данного географического края, а не барашкина «травка», и небо – а небо – то небо, которого над лужайками моих детских книжек – не было.

Начнем наугад. По сжатости места стихи приходится давать в строку.

«А у вас живут ребята – Городские тесновато. – Ваши важные дома – Как железная тюрьма».

И дальше.

«Не гордитесь, ленинградцы, – Очень глупо зазнаваться. – Все привозят поезда – Из деревни в города. – На полях растет рубаха, – Лен спрядет на прялке пряха, – Мы без фабрик и станков – Понаткем себе холстов!»

И, в ответ на заносчивое утверждение города: – «А у вас в деревне нет – Ни пирожных, ни конфет».

– «Да, пирожных не найдешь, – Но зато мы сеем рожь. – В землю падает зерно, – Всходит колосом оно. – Зрелый колос ждет серпа, – Сжатый колос ждет цепа, – А закончен умолот – Хлеб на мельницу идет. – Будет рожь у мужика, – Будет в городе мука».

Это – «Город и Деревня», а вот отдельная книжка – «Хлеб» – 15 страниц крупной печати, и на 15-ти страницах всё, вся история хлеба: Пахарь – Борона – Сеятель – Рожь – Молотьба – Веянье – Мельница – В Город – Пекарь – Булочник. Песнь о хлебе в 10 главках. Пекаря привожу целиком:

«Квашня хороша, – Воды три ковша, – Дрожжей на пятак, – Муки – на четвертак. – Вышло тесто на дрожжах, – Не удержишь на вожжах. – Замесил погуще, – Заходило пуще. – Не хватает места, – Вылезает тесто. – А я тесто – шмяк! – Шмяк и этак, шмяк и так! – Катаю по муке – Вдоль по липовой доске, – От края до краю – Каравай катаю. – Раскатаю – стану печь, – На лопате суну в печь».

Что, хорошо? – Хорошо. И не лучше ли таких, например, стихов (книжка передо мною, нашего производства):

«В стране, где жарко греет солнце, – В лесу дремучем жил дикарь. – Однажды около оконца – Нашел он чашку – феи дар. – Дикарь не оценил подарка – Неблагодарен был, жесток – И часто чашке было жарко, – Вливал в нее он кипяток. (Спрашивается – для чего же чашка? Вот они, «подарки фей»!) – И черный мальчик дикаря – Всегда сердит, свиреп и зол. – Он, ложку бедную моря (?!), – Пребольно ею бил об стол». Минуя рифму: кроватки и булавки (почему не слюнявки и булавки, и благозвучнее и по смыслу ближе: слюнявку, на худой конец, можно заколоть булавкой), перейдем к очередному дару феи:

«Но феей детке послан дар: – Картонный, толстый, черный шар. – Ее в тот шар тотчас одели. – Она стояла еле-еле – (вследствие чего стала называться Танькой-Встанькой. И, дальше:) – Однажды к Танечке на стол – Вдруг прыгнул черный Васька-кот – И сбросил бедную на пол».

Не спрашивается уже о том, откуда в тропических лесах столы и коты Васьки (после чашки, не выносящей кипятку, нас уже ничем не удивишь!), спросим автора: откуда – из каких мест России – у него это ударение: на пол? Может быть – рифмы ради? Но так ли уж блистателен Танечкин стол в тропиках?

Brisons-la, ибо с первой страницы до последней – все тот же бездарный, бесстыдный, безграмотный вздор. – Но разве все здешние детские книги таковы? – Не все, но она и не одна (хотя бы наличность еще пяти таких же, того же автора, за качество ручаюсь), да будь она и одна – назовите, покажите мне хотя одну такую в России. Не покажете, ибо ее быть не может. Иная культура стиха. Просто – бумага не стерпит.

Кстати, о бумаге: отличная. Печать крупная, черная, именно – четкая. А об иллюстрациях нужно было бы отдельную статью. Имена? Те же безымянные. Высокая культура руки и глаза.

Возьмем копеечное (цена 1 копейка) издание Пушкинских сказок. – О Золотом петушке, о Рыбаке и Рыбке – на 16 стр. текста – 8 страниц картинок, в три цвета. И – какие картинки! Никакой довоенный Кнебель не сравнится. За копейку ребенок может прочесть и глазами увидеть сказку Пушкина. Достоверность (в руках держу). Вывод – ваш. Помню копеечные книжки своего детства. «Нелло и Патраш» Уйда, но без картинок и, кажется – 3 копейки. Может быть и Пушкин был, может быть и за копейку, может быть и с картинками – но во всяком случае не за эту копейку и не с такими картинками – первокачественными.

Впервые за существование мира страна к ребенку отнеслась всерьез. К дошкольному, самое большее – шестилетнему – всерьез. В Англии, когда ребенок переходит улицу, всё останавливается. В России ребенок все приводит в движение. «Его Величество Ребенок» – это сказала Европа, а осуществляет Россия.

Темы детских книг, в основе, три. Природа (звери, птицы, земли – преимущественно России), народность (сказки, предания и обычаи всех народов – преимущественно племен России) и современность, если хотите – техника. Не тяготея к последней, нет: ох как ею тяготясь! не могу не признать, что такие книжки, как «Кто быстрее» – все способы передвижения от слона до аэроплана (о тексте и рисунках раз навсегда скажу: превосходны), как «Водолазная база» (все морское дно), как «Часы» – все особи их, кончая деревенскими часами: петухом, – доброе, мудрое и нужное дело. Если даже техника – враг, человек должен знать своих врагов. Но враг она для меня и еще для полутора (заштатных) душ, наши дети в ней и с ней родились, им в ней, с ней жить, больше – ее творить.

И несмотря на всю свою любовь к сказкам Перро (так и вижу бегство Ослиной кожи из родного страшного дома – огромной вязовой аллеей, на баранах, под бараньим рогом месяца… Я только против заимствованной, не прививщейся, привиться не могущей, – лже-фантастики – рязанских «эльфов» восстаю!) – так, несмотря на всю свою любовь к Ослиной коже – чем водолаз менее волшебен, чем фея?

Спросите детей – ответ их.

Но есть среди всех жизненно-волшебных и чисто-волшебные. Возьмем «Приключения стола и стула» – о том, как вещам надоело стоять на месте. (Самочувствие законное!)

«Зазвенели зеркала, – Волчья шкура уползла, – Стол промолвил на ходу: – До свиданья: я иду».

Не утруждая читателя пересказом всех (очень живых и смешных) злоключений сбежавшей пары – и очень желая, чтобы он, читатель, потрудился сам, обращу его внимание на законность такой фантастики. Стул – четыре ноги – и «до свиданья! я иду!» (всеми четырьмя). Это тебе не дикари с чайными чашками. Фантастика не есть беззаконие, беззаконная фантастика есть – ахинея.

Природа в дошкольной российской литературе так же щедро представлена, как техника. «Зверинцев» не перечесть, но не только в клетках звери – и на воле, каждый у себя дома, на своем фоне, в своей семье или стае, со своей бедой, со своей судьбой. Особенно нежно любимы, следовательно часто живописуемы и воспеваемы. Сова и Еж – и в этом я тоже вижу

глубочайшее проникновение в дошкольную, еще неподневольную душу. Кто из нас некогда не имел своего (трагического) ежа? (Ежик ушел!) И кто из всех птиц особенно не тяготел к сове: филину: родному брату родного кота? Нынешние детские книжки мою тогдашнюю детскую страсть – разбередили.

Зверинцы. Из всех имеющихся знаю два, и один лучше другого. Гениальный зверинец Бориса Пастернака, на котором останавливаться здесь не место, ибо говорю о рядовой книге, и «Детки в клетке» С. Маршака – из всех детских книг моя любимая. Начнем с названия. Не звери в клетке, а детки в клетке, те самые детки, которые на них смотрят. Дети смотрят на самих себя. Малолетние (дошкольные!) – слон, белый медведь, бурый медведь, жирафа, лев, верблюд, кенгуру, шимпанзе, тигр, собака-волк, просто-волк – кого там нет! Все там будем.

«Вот слоненок молодой – Обливается водой. – Вымыл голову и ухо, – А в лоханке стало сухо. – Для хорошего слона – Речка целая нужна! Уберите-ка лоханку, – Принесите-ка Фонтанку!»

А вот Львенок:

«Нет, постой, постой, постой! – Я разделаюсь с тобой! – Мой отец одним прыжком – Расправляется с быком. – Будет стыдно, если я – Не поймаю воробья. – Эй, вернись, покуда цел! – Мама! Мама! Улетел!»

И, на закуску – малолетний тигр:

«Убирайтесь! Я сердит! – Мне не нужен ваш бисквит. – Что хорошего в бисквите? – Вы мне мяса принесите. – Я тигренок, хищный зверь! – Понимаете теперь? – Я с ума сойду от злости! – Каждый день приходят гости, – Беспокоят, пристают, – В клетку зонтики суют. – Эй, не стойте слишком близко! – Я тигренок, а не киска!»

Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга – лучшая в мире.

P. S. А с новой орфографией советую примириться, ибо: буква для человека, а не человек для буквы. Особенно если этот человек – ребенок.

<1931>